

МИХАИЛ АГУРСКИЙ
ВЛАДИМИР БУКОВСКИЙ
НАУМ КОРЖАВИН
ЮРИЙ МАЛЬЦЕВ
АННА ТАМАРЧЕНКО
ЮРИЙ ФЕЛЬШТИНСКИЙ
ДОРА ШТУРМАН



**ЗА
ЧЕЙ
СЧЁТ?**



МИХАИЛ АГУРСКИЙ
ВЛАДИМИР БУКОВСКИЙ
НАУМ КОРЖАВИН
ЮРИЙ МАЛЬЦЕВ
АННА ТАМАРЧЕНКО
ЮРИЙ ФЕЛЬШТИНСКИЙ
ДОРА ШТУРМАН

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ?

СБОРНИК ПОЛЕМИЧЕСКИХ СТАТЕЙ

РЕДАКТОР-СОСТАВИТЕЛЬ

ЮРИЙ ФЕЛЬШТИНСКИЙ

ЭРМИТАЖ

1986

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?

Сборник полемических статей.

Редактор-составитель Юрий Фельштинский

ZA CHEI SCHYOT?

Coll. of articles. Compiled and edited by Yuri Felshinsky

Copyright © 1986 by individual authors

All rights reserved

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Za chei schet?

Includes index.

Contents: *Pochemu russkie ssoriatsiâ? / Vladimir Bukovskii — O chuzhoi i svoei bede / Naum Korzhavin — Za chei schet? / Naum Korzhavin — [etc.]*

1. Soviet Union—Social conditions—1970-
2. Soviet Union—Politics and government—1953-
3. Dissenters—Soviet Union. I. Fel'shtinskii, Iûrii, 1956-

HN523.5.Z3 1986 306'.0947 86-4626
ISBN 0-938920-69-3

Published by HERMITAGE
P. O. Box 410
Tenafly, N. J. 07670, U.S.A.

“ПОЧЕМУ РУССКИЕ ССОРИТСЯ?”*

Этот вопрос я постоянно слышу теперь на всех пресс-конференциях и публичных выступлениях. Друзья задают его с тревогой, недруги — со злорадством. Казалось бы, что тут особенного? Мы ведь не стреляем друг в друга, как немцы, не похищаем друг друга, как итальянцы. Никогда не принадлежали к единой политической организации. В парламенте или прессе любой демократической страны мира — ссор и споров гораздо больше. Что ж спрашивать с эмиграции, где споры традиционны? В какой эмиграции их не было? В русской они существуют много лет. Непонятно только, почему это так вдруг взволновало мировую печать.

Нетрудно заметить разницу между публичным выражением несогласия и сосредоточенной, политически рассчитанной газетной кампанией. Конечно, американцы, к которым относится теперь Чалидзе, мало интересуются делами в Европе. Поэтому он, видимо, не знает, что за последние три месяца его статья — шестнадцатая или семнадцатая¹ в мировой прессе, направленная против Солженицына (иногда заодно и против Максимова). Такой атаки Солженицын не удостаивался даже в советской прессе. Не удивительно ли — такой повышенный интерес, к вопросу, почему “поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем” в эмиграции. И это в то время, когда невозможно опубликовать коротенькое письмо протеста в защиту Тани Великановой и Глеба Якунина, а сообщение Франс-Пресс из Москвы об аресте Некипелова не опубликовано практически ни одной газетой.

— наших читателей это, знаете ли, уже не интересует. У вас всегда кого-нибудь арестовывают.

У Ефима Эткинда вышли на ставшую модной тему эмигрантских ссор целых три статьи — в Германии, Франции и Италии (создав ему репутацию видного представителя советской “левой оппозиции”), и все в крупных газетах и журналах.

О безграмотных статьях Карлайл в “Нью-Йорк Таймс Мэгэзин” даже и упоминать не хочется. Серьезно считать ее специалистом по России может только американский университетский мир.

* Опубликовано в журнале “Континент”, 1980, № 23. Перепечатывается с незначительными сокращениями.

Я не политик, но определенная политическая интуиция у меня, как будто, есть. И сдается мне, что эта бешеная атака объясняется вступлением в новый этап — так сказать, этап “вьетнамизации войны”. Чалидзе совершенно прав, когда пишет, что “именно наше движение породило за последние 10 лет *международное движение* в защиту прав человека в Восточной Европе с вытекающим отсюда давлением людей на свои правительства”. И далее совершенно правильный вывод: “Разумно также помнить, что есть силы, даже на Западе, которые не хотят его (движения) роста”. Да, к сожалению, не только есть такие силы, но они и весьма могущественны.

Для определенной части западного истеблишмента мы со своим движением — как кость в горле. Им бы договориться с советскими полюбовно, “ограничить вооружение”, уступить все, что требуют, — ведь все равно отберут, так лучше отдать. Словом, брось, а то уронишь. Главное же — продавать, продавать, продавать — все, что можно, от кокаколы до человеческого достоинства. Они даже теорию изобрели, что всякое освободительное движение на востоке — опасно. Дестабилизирует равновесие в мире, приводит к войне, потому что коммунисты могут отчаяться и хлопнуть напоследок дверью. Сытый коммунист лучше голодного, и т. д. Наше существование мешает им сговориться (достаточно вспомнить поправку Джексона).

Для другой части истеблишмента мы не просто кость, мы нож в горле. Для них СССР — все еще “объективный” союзник, а всякая критика его ударяет и по их идеологии. 10—15 лет назад в Париже любой, кто стал бы критиковать восточноевропейский коммунизм, не говоря уже о марксизме, был бы заклеен как фашист. Сейчас в Париже даже члены компартии о коммунизме говорить стыдятся. Можно ли себе представить, чтобы десять лет назад Раймон Аарон за руку с Жаном-Полем Сартром и Андре Глюксманом пошли просить французского президента о помощи вьетнамским беженцам — беженцам от коммунизма! Это невероятная комбинация для Франции.² А почему она стала возможной? “Солженицын. ГУЛаг”, — вот все, что ответят тебе в Париже, имея в виду всех “диссидентов”. Для них мы — одно, а Солженицын — символ этого единого явления. Так можно же себе представить, как “левый” истеблишмент его/нас ненавидит.

Да, в этом наша беда. Мы “между двух стульев”, мы им здесь всем, всему истеблишменту, одинаково ненавистны. Ни одна реальная политическая сила нас не поддерживает. Поддерживает же нас симпатия людей, с политикой не связанных. На них-то и нацелена теперь массивная газетная кампания.

Попытки ниспровергнуть авторитет Солженицына, а с ним вместе и фактор “диссидентов” в мировой политике — дело давнее. Впрочем, пожалуй, они начались еще до Солженицына, с уверения политиков и обозревателей, что сталинские беззакония ликвидированы Хрущевым,

что жить становится лучше, жить становится веселей (я намеренно опускаю предшествующий период, когда самого существования террора не хотели признавать, а беженцев из коммунистического рая объявляли фашистами и агентами ЦРУ). Царит разгул либерализма (это в период новочеркасско-александровских расстрелов). Затем пошли заверения, что "диссиденты" — крошечная горстка людей, никого не представляющая и никакого значения не имеющая. Чуть не каждый год объявляют о конце движения, и так добрых 15 лет.

Никогда не забуду, как моему другу, корреспонденту Ассошиэйтед Пресс в Москве Дженсену, его вашингтонское начальство запретило писать какие-либо статьи после нашего с ним интервью в 1970 году. Пробыть тогда какую-нибудь информацию об арестах было необычайно трудно. Журналиста, высланного из Москвы, автоматически выгоняли с работы в его стране или переводили на плохую работу. Не забуду я и 1971 год, когда Всемирный конгресс психиатров в Мехико, под прямым нажимом политиков, отказался обсуждать нашу документацию. Начиналась эра детанта. (Впрочем, фактически она началась, по-моему, прямо с 1917 года.)

Понадобились чрезвычайные усилия честных людей на Западе и на Востоке, чтобы наш голос, наконец, услышали. Затем принудительная эмиграция сотен правозащитников — и сразу же масса статей об их неспособности устроиться и жить в свободном мире. Дескать, что там за них в СССР переживать: несвобода — их естественное состояние.

Ну и, конечно же, Солженицын, главное бельмо на глазу. То, оказывается, он в Вермонте ГУЛаг себе устроил, отгородился колючей проволокой. То деньги от налогов скрывает. То к Пиночету в гости собирается. Главное же — реакционер, и слушать его не надо.

Целый период был, когда нас пытались поссорить, приспособить для своих нужд, делили на "плохих" диссидентов и "хороших". (Как это делает та же Карлайл.) Я как раз в это время оказался на Западе и, помню, все недоумевал, почему же в Англии меня обвиняют, что слишком "правый", а во Франции — что слишком "левый". Какой только чуши не писали, какой только политической и человеческой подлости я не увидел. В Германии я, оказывается, агент КГБ, во Франции — агент ЦРУ. Все это чуть-чуть стихло вокруг меня, как только стало известно, что иду учиться.³ С глаз долой — из сердца вон. Но даже и теперь, уже в этом году, выиграл в Англии процесс о клевете. А стоит только появиться где-нибудь во время каникул — взывают, как по команде.

В Норвегии не какой-нибудь коммунистический листок — крупнейшая газета страны поместила по моем приезде большую статью и две фотографии. Под фотографией Солженицына подпись — Буковский. Под моей — Солженицын. А в тексте: "на службе реакционных сил...", "пособники крупного капитала..." и т. п. В Канаде, в Ванкувере, после моей лекции в университете — погромная статья: не сказал ничего хо-

рошего о своей стране. Все у него плохо. В Исландии после выступления о злоупотреблениях в советской психиатрии, — письмо в газету. Оказывается, я наглый лжец, так как, рассказывая об укрутке, сказал, что мокрая парусина, намотанная на заключенного, сжимается по мере высыхания. Автор письма всю жизнь работает с парусиной и с веревками и знает, что парусина не садится. Подписано, конечно, инициалами. Думаю, что здесь, на Западе, у меня теперь, после трех лет жизни, врагов больше, чем в СССР после 34-х. И это только у меня, а что же должно твориться вокруг Солженицына!

Наконец, наступил период, когда стали “создавать” диссидентов — конечно же таких, чье “мнение” выгодно противопоставить мнению подлинных правозащитников. Нужно остановить Картера в его кампании за права человека — срочно находят кого-то в Москве, кто заявляет корреспонденту, что позиция Картера вредна. И это сразу в печать, крупными буквами, на первую полосу. А заявление политзаключенных в поддержку политики Картера — где-то в конце, мелким шрифтом, да и то не во всякой газете. Пишет Сахаров обращение к Белградскому совещанию — на той же странице “Нью-Йорк Таймс”, сразу следом, статья “тоже диссидентов” Соловьева и Клепиковой о том, что Сахаров — наивный чудаков, не от мира сего, изолированный от народа, генерал без армии.

Пожалуй, самой большой находкой были братья Медведевы. Хотя сами они никогда себя к “диссидентам” не причисляли, а все больше к советникам “голубей в Политбюро”, здесь они числились в лидерах “левого крыла диссидентов”. Я, переезжая из страны в страну, только диву давался, до чего ж эти братья плодотворны. Практически ни одной такой газеты, ни одного журнала нет, где бы их не напечатали. Это не считая книг и прочих мелких лекций. Выдвинули Сахарова на Нобелевскую премию — Жорес Александрович уже в Норвегии, убеждает общественность, что нельзя давать премию мира создателю водородной бомбы. Разворачивается кампания в защиту арестованных хельсинкцев — Жорес Александрович в парижской газете объясняет, как *вреден* шум на Западе для людей “там”. Надвигается осуждение советской психиатрии в Гонолулу — Жорес Александрович тут как тут, заявляет в Америке, что кроме него, ну и, пожалуй, Плюща, никого в психушку по политическим мотивам не сажали. Да всего и не перечислишь...

Ведь это же находка. Пусть-ка диссиденты удушат себя своими руками. Солженицын — “писатель-диссидент”, и безызвестный Х. — “писатель-диссидент”. Вроде как сбывшаяся угроза Сталина Крупской насчет “другой вдовы Ленина”. Любой самозванец, написавший что-нибудь против Солженицына или “Континента”, сразу же найдет мировую прессу вкупе с почетным званием писателя-диссидента Советского Союза.

Вот тебе и 16 статей за три месяца.

А дальше — проще. Слухи, разговоры, вопросы:

— Почему русские все время ссорятся?

Что с них взять, с диссидентов, вечно ссорятся, ни на что не способны, сами не знают, чего хотят.

И еще того хлеще, вырисовываются контуры зловещей “новой правдой”. Так и видишь на трибуне мавзолея Солженицына, Андропова и Орехова, принимающих парад диссидентов на Красной площади. (Андропов, конечно же, из них самый либеральный.) А из Спасских ворот под звон московских сорока сороков выезжает на белом коне командный парадом Максимов в бурке и буденовке. Жуть.

Простительно Ольге Карлайл по незнанию валить в одну кучу Глазунова и Солженицына. (Не для таких ли советологов и нарисовал Глазунов Солженицына?) Другие же вполне ведают, что творят. Но социальный заказ есть социальный заказ. Даже Некрич, всю жизнь бывший искренне верующим коммунистом (но не конформистом), отчего с трудом пустили его в Америку, теперь уже слишком “правый” для американских университетов. Контракта ему не продлевают. (А литературный критик Соловьев — уже лектор политических наук.) Вот так-то, без психушек и Лубянки, а контрактами да страницами “Нью-Йорк Таймс”, пуще же всего — соблазном быть принятым и уважаемым “академической, интеллектуальной средой”, удается иногда то, что КГБ не под силу. Многие же усваивают эту особую “академическую психологию” вполне искренне, незаметно для себя. Все-таки надо же чему-то научиться у Запада.

Статья Чалидзе — первая статья честного человека на модную тему, и если, скажем, Янову отвечать нелепо, а с Синявскими пусть прогуливаются душеведы, то Чалидзе, бесспорно, заслуживает честного ответа.

Я не собираюсь защищать или оправдывать Солженицына — прежде всего потому, что у меня с ним расхождений не меньше, чем с Чалидзе. Ну, а кроме того, он и сам в состоянии ответить, если захочет. Да и речь пойдет не столько о Солженицыне, сколько о наших собственных взглядах и представлениях, о Западе и Востоке, о прошлом и будущем.

С очень многим, сказанным в статье Чалидзе, я согласен. Многое могу понять как реакцию на весьма специфическую эмигрантскую прессу. Если уж американская пресса оставляет желать лучшего, то от чтения эмигрантской (особенно в Америке) и подавно можно голову потерять. Все же остается в статье еще слишком многое, чтобы обойти ее молчанием. Очень уж сильно в ней влияние распространенных интеллигентских мифов и страхов.

Мифы начинаются почти сразу же, поскольку Чалидзе пытается судить о предмете, ему вовсе незнакомом — о народе. Если я верно помню период нашего общения в Москве, его контакты с народом ограничивались хождением в магазин на Арбате и общими (не частыми) прогулками по городу. То есть степень общения не многим большая, чем

у иностранного туриста, владеющего русским языком. Да и характер у него был необщительный, о чем он и предупреждал всякого нового собеседника. Что уж он мог "слышать в народе", как он теперь изящно выражается, не знаю. Помню только однажды сказанную им фразу, сильно меня поразившую, а именно: что за одно только, пожалуй, мы должны благодарить власти — за то, что защищают нас от народа. Помнится тогда, несмотря на мое необычайное уважение к Валерию Николаевичу, я вдруг почувствовал между нами пропасть, поскольку ни в уголовных лагерях (куда, как известно, тянут в массе своей обыкновенный народ), ни в экспедициях по Сибири и Крайнему Северу, ни в иных моих поездках — никогда я не испытывал необходимости в защите от людей, таким образом встреченных, тем более в защите властей.

Был я, не в пример Валерию Николаевичу, человеком весьма даже общительным, а потому, легко сошедшись с любым попутчиком (или сокамерником), распив с ним по стакану водки или спирта (чаю — в лагерных условиях), чувствовал себя вполне защищенным. Водка у нас — верный стимулятор задушевной беседы, и, могу заверить, самые потаенные, сокровенные мысли о нашей "Совейской" власти будут вам тотчас же высказаны даже и без провокационного исполнения государственного гимна, как то рекомендовал бравый солдат Швейк.

Признайтесь, Валерий Николаевич, ведь Вы никогда не пили на троих с шоферюгами, не сажали картошку с бабами в Калининской области, не воровали деталей с заводского склада вместе с напарником, не пили по случаю холеры перцовку (для профилактики) со шкиперами и плотогонами Печорского судоходства? Оттого Вы, верно, и не знаете, что "коммунист" у нас слово ругательное, плохое слово. За него могут и по шее дать. В лучшем же случае обидишь хорошего человека ни за что, ни про что. Не то чтобы к ним была лютая ненависть, такая, как к милиции, но презрение — как к жуликам, получающим привилегии не за работу, а за красную книжечку. Это я говорю о рядовых членах партии или низовых активистах. Но уже райком вызывает ненависть — как воплощение власти. Недаром во время всех локальных бунтов, как то было в Муроме, Александрове или Нальчике, райкомы (горкомы) страдали наравне с милицейскими участками.

Никоим образом нельзя сравнивать недовольство людей на Западе своим правительством и ту дремучую ненависть, которая есть в наших краях к *власти*. (У нас слово "правительство" никто и не употребит даже.)

Конечно, и дури сколько угодно, и глупости. Например, оккупацию Чехословакии, насколько о том можно судить, простые люди в большинстве одобряли (интеллигенция — хоть не всегда открыто, но осуждала).

Идея коммунизма, думаю, никогда не была воспринята толком, да так и не прижилась. За все время я встретил только одного (!), который

утверждал, что верит в эту идею. То ли, правда, такой дурак он был, то ли выпили мы недостаточно — сказать не берусь. Зато вот деревенский дурачок Вася Гудин из Тамбовской области, который сидел с нами на экспертизе в институте Сербского в 1967 году, обвинялся по ст. 70 за то, что, приехав в г. Тамбов, “вел антисоветскую пропаганду среди пассажиров на вокзале”, — так тот искренне недоумевал, в чем его вина: в деревне же все так говорят.

Что означает фраза Чалидзе “...у них нет альтернативной идеи для принципиального, политически значимого недовольства”, мне непонятно. “Политически значимое недовольство” возникает не из идей, а из повседневной жизни. Недовольство из идей возникает, по-видимому, только у Чалидзе. Во всяком случае, в физиологии такое явление не описано. У других знакомых мне людей как раз наоборот: идеи возникли из недовольства. Видя какую-нибудь несуразность советского производства (или жизни), пожилой человек скажет — в старые времена так не бывало (хоть, может, и знает о том лишь по рассказам). Или: у хозяина так бы не было. Очень типичное выражение. Молодежь же чаще скажет: вот на Западе так не бывает. (И, к сожалению, ошибается.)

То, что сейчас стали больше говорить вслух, конечно, не есть признак надвигающейся революции, но и отнюдь не признак прочности власти. Так же, как скрываемое неудовольствие не таит в себе опасности взрыва (при Сталине, например). Просто стали меньше бояться. Удивительно, что этого-то самого простого объяснения Чалидзе не видит. А оно очень важно. *Уменьшение страха — самое большое наше достижение за последние 20 лет.* Его-то здесь и принимают за “либерализацию” режима.

Ненависть очень типична для нашего общества, и любопытно, что в партийной бюрократии ненависти к идеологии коммунизма можно встретить даже больше, чем в простом люде. Если бы не назойливая пропаганда, эти последние о коммунизме, может, и вообще бы не вспоминали.

Неверно, что начальство искренне критикуют за отход от идеалов. Просто есть такая рефлекторная привычка у советского человека — внутренне спорить с пропагандой, ловить ее на лжи. “Гляди-ка, партийные! — может сказать человек. — Идеиные, да? А мясо через партраспределитель получают, когда его в магазине нет”. И это столь же мало означает поддержку коммунистических идеалов, как мало наши бесконечные ссылки на социалистическую законность означали веру в нее.

В основном, принципиальный наш вывод совпадает. Ненависть не означает близких перемен, революций в любом случае (и слава Богу, а то с таким запасом ненависти, который накопился в стране, миллионам скрутят голову). Это вроде бы уже было доказано ранее. Так зачем же подтверждать верный тезис неверными рассуждениями на тему, которой заведомо не знаешь?

Рассуждения Чалидзе о тенденциях в критике Запада — пожалуй, одно из самых слабых мест его статьи. Это образчик того самого типично высоколобого американского журнализма, из-за которого я терпеть не могу американских газет. Читаешь, читаешь — и все никак не поймешь: брать зонтик, не брать зонтика? Это у американцев (в особенности так называемых “профессоров политических наук” и интеллектуалов от журналистики) считается хорошим тоном, объективностью автора, признаком таких глубоких познаний, когда все не так просто, как думает наивный, непосвященный читатель. Таким стилем можно написать все что угодно: о засолке огурцов, о Ближнем Востоке, о климате в пустыне Гоби, о первой помощи потерпевшим кораблекрушение. Все, что должно вытекать из статьи, это:

- проблема необычайно сложна и многогранна;
- автор, глубоко эрудированный человек, знает проблему досконально и не напрасно получал стипендию от Рокфеллеровского фонда;
- автор умышленно умалчивает о своем мнении, выводе, так как не хочет его навязывать умному человеку, который и так все поймет;
- подписывайтесь на нашу газету, она создана специально для таких, как вы.

Американцы привыкли: читают и рекомендуют знакомым во время койтейль-парти, так, чтобы это слышали окружающие. Я же кусаю ногти и злуюсь. Мне, к примеру, завтра огурцы солить. Так класть соль или не класть? Этот странный стиль процветает в Америке добрых сорок лет, и никто не решится возразить. Чего доброго, прослынешь недотепой, которому нужны готовые рецепты, а не первоклассная журналистика.

Но вернемся к “еще не рухнувшему Западу” (слова А. Солженицына, музыка В. Чалидзе). Сначала нам говорят, что Солженицын активизировал антизападную пропаганду. То ли в политических целях, то ли по незнанию — неясно. Затем пример незнания о деревенских свадьбах и деревенских писателях с мордобоем. Пример не по теме, так как и не о Западе и не об анти-Западе. Он о Солженицыне, который, выходя, ненавидит “демдвиж”,⁴ т. е. своих читателей, защитников, перепечатчиков, сидевших и все еще сидящих за его произведения, да к тому же следующих его заповеди “жить не по лжи”. Любит же он, оказывается, тех, кто его не читает, поносит в открытых письмах в “Литературке” и живет по лжи. Ну да ладно. Особенности любовных отношений писателя с читателями ни меня, ни Чалидзе сейчас не интересуют. Но предположение о неинформированности пока не доказано. Не в том дело. Если и звали только своих авторов (не уточняю по телефону, верю Чалидзе), то, может, спросить Солженицына, зачем же печатали одних диссидентов? Почему замалчиваете “главных” представителей, ра-

кальи? Опять интриги, опять "демдвиж"! Нет уж, Валерий Николаевич, увольте.

Дальше идет пример о злом политическом умысле. И опять примерчик так себе. Б. Шоу с А. Солженицыным хоть по десять дней в стране пробыли, мы же с Вами — ни дня. Черт их знает, что у них там в Испании было в то время. Военные трибуналы против гражданских лиц — конечно, не хорошо. Но вот у меня, можно сказать, под боком, в Северной Ирландии, тоже против гражданских лиц не суды, а полутрибуналы, полутройки, вроде ОСО. Но ведь что делать, если террористы присяжных убивают в случае обвинительных приговоров? Так запугали, что только оправдательные приговоры и выносились, пока это самое ОСО не ввели. И узники совести — несколько сотен, а как же? Превентивно арестованные. Ни обвинения, ни суда, потому что доказательств нет надежных, никто в свидетели не идет, одни только агентурные данные. Что же делать, отпустить? Так ведь невинное население страдает: бомбы в пивных, бомбы в машинах...

Может, предложите свое решение ирландской проблемы? Может, будете утверждать, что там самая настоящая диктатура? Нет уж, еще раз увольте, Валерий Николаевич. Не зная броду, не суйся в воду. Я же помню Вашу сакраментальную фразу в Москве, которая внушала гебешникам почти мистический ужас:

— Я еще не изучил эту проблему...

И кто же после этого поверит в Ваше легкомыслие?

*

Далее классическая американская журналистика набирает силу. На Гарвардской и Стэнфордской речах, говорят нам, ничего нельзя строить, если не рассматривать, а если рассматривать, то — можно и даже очень. Ведь это же — узнаем мы — умышленная карикатура, до боли знакомая с детства по советской прессе, чтобы те, кто ей не верил, надеялся, тем только, может, и жил, теперь вот, совсем сраженные авторитетом Солженицына, отшатнулись в ужасе. И заметьте, предупреждают нас, все это вполне сознательный обман: ведь Солженицын — не наивный политик, ему весь этот гнусный трюк нужен, чтобы бедный дезинформированный человек, потерявший мечту детства о прекрасном "Западе, его демократии, его свободе, его разврате", избрал с отчаяния нечто возвышенное, русское и, как мы догадываемся, гибельное.

Ну, не подлость ли, не злодейство ли! Так безжалостно отравить доверчивые, невинные души... в корыстных целях... при отягчающих обстоятельствах. И кто же? Автор "ГУЛага" и "Матренина двора"!.. Однако ж было сказано: если не рассматривать, то нельзя строить, а если рассматривать, то вполне.

Надо же изучить проблему.

Надо ж мне хоть Гарвардскую речь посмотреть, я же ее сроду не читал. Лихорадочно листаю, мелькают заголовки — *Расколотый мир, Современные миры, Конвергенция*. Нет, что-то не то. Дальше — *Благополучие*, все не то. *Юридическая жизнь*. Вот. Здесь, наверное, про суд Линча. “Границы прав и правоты человека (очень широкие) определяются системой законов”; “Всю жизнь проведя под коммунизмом, я скажу: ужасно то общество, в котором вовсе нет беспристрастных юридических весов. Но общество, в котором нет других весов, кроме юридических, тоже мало достойно человека (*аплудисменты*)” (Цитирую по “Вестнику РХД” № 125. За что купил, за то продаю). Опять не то. С перепугу прочел *всю* Гарвардскую речь (Стэнфордской не было). Ну, положим, спорного много. Я, например, за разврат обиделся. Почему ж нельзя, если занято? Потом обиделся за других. Скажем, порнография. Я ее сам-то не смотрю, неинтересно, когда живой разврат есть, ну, а мальчишкам лет в 14, может быть, даже очень любопытно. Их тоже пожалеть надо. Знаю я эти штучки. Потом пить, скажут, нельзя, потом курить, да и ругаться. Особенно расстроился из-за фильмов ужаса. Я их все посмотрел, какие были. Полянского так даже по нескольку раз. Значит, нельзя? Обидно. Да и сложно. Мне бы списочек такой наперед — что от Бога, что от беса.

Однако же, Валерий Николаевич, шутки в сторону. Где же обещанные, до слез знакомые с детства карикатуры? Где контрасты, безработные, поджигатели войны и дядя Сэм? Так же нельзя шутить, Валерий Николаевич. Может, Вы все-таки построили, не рассмотрев?

*

На следующей строчке я невольно вздрогнул. “Другая тенденция, также чтоб отвратить русских слушателей от Запада, — обвинение западных держав”. Я вот... ну, словом, тоже бывает. Поругиваю, значит. Да ведь, не обессудьте, Валерий Николаевич, ну как их, каналов, не пожурить иногда. Ведь всех продадут, всех как есть. Я ж как лучше стараюсь, но вовсе не чтоб от Запада отвратить.

С другой стороны, как же “разрядка” с доктором Киссинджером или вот Белградская встреча? Мы же с Вами оба были из Москвы назначены разъяснять значение и цели Хельсинского движения. Ребята там документы собирали, посылали *всем* европейским правительствам. Мы, значит, им тут разъясняли, как положено. И вот в Белграде — ни звука. Какое-то скомканное коммюнике даже без упоминания прав человека. Ребята ж там сидят, на нас надеются. А здесь державы решили — “не требовать *слишком много* в Белграде” — и *ничего* не потребовали. Так можно я их хоть за это ругну, все 35? Я тихонько, так, чтоб ТАМ не услышали, а то еще разочаруются в Западе, в демократии, да и в разврате тоже.

Ну, а если не весь Запад, то хоть частями. Ведь Вы войдите и в мое положение. У Вас там все солидно — один Белый Дом, один Капитолий. У меня же здесь — две дюжины, и все — в разные стороны. Немцы все на карачки норовят встать, как у нас в биологии выражаются — “в позу подставления”. Французы, те что, те великая нация. Всегда сами по себе, как кошка у Киплинга, но как-то все больше с СССР. За мелкими я уже и не угляжу, сил нет. Ну, хоть Финляндию можно, Валерий Николаевич?

Ведь это до чего ж дошло: с одной стороны — Солженицын. Не ругай, говорит, Россию. Они ж свои, перед чужими неловко. С другой стороны — Чалидзе. Не ругай Запад, они чужие, да и своих напугаешь. Что ж мне, старому зеку, уж и выругаться нельзя теперь? И подумать только, сидел я в своем Владимире всего три года назад, спокойно так, ничего не боялся, ругал кого хотел. И как ругал!! Нет, добрались, обменяли.

Но вот, чуть ниже, вроде полегчало, пронесло нас с Солженицыным: оказывается, “моральная правота” есть, когда из лагерей глядишь. Вот беженцев выдали — вроде бы и мы вправе возмущаться. Я так понимаю, что ежели с “моральной правотой”... Тут и лагеря упомянуты. Вроде бы примирились.

Нет, опять не туда. В следующем же абзаце выходит, что одна “моральная правота” у россиянина, другая — у всех прочих (цивилизованных). Значит, по российской морали отдать 2 миллиона сопротивляющихся людей на смерть — преступно. По нероссийской — в зависимости от того, могли ли, должны ли были не отдавать. Это, значит, только русские в лагерях “воспринимали как предательство: и выдачу беженцев на удобрение ГУЛагу, и лицемерные похвалы зверскому режиму, и глухоту к честным свидетельствам о страданиях людей”. Ну, знаете, Валерий Николаевич, не слишком ли?

Да ведь это и не русские совсем, а сначала американец Юлиус Эпштейн, потом англичанин лорд Бетелл — западная “моральная правота” изобличила предательство. То есть как это “должны ли были” не отдавать? Согласно документам, Сталин и не *требовал* выдачи. Сами отдали, на всякий случай. Что значит “могли ли”? Вот князь Лихтенштейна отказался выдать тех несчастных, что у него на его крошечной беззащитной земле оказались, — и *не выдал*. Да мы о “моральной правоте” говорим с Вами или нацистских преступников защищаем, которых судили за исполнение преступных приказов?

Мы ведь не помощь “антикоммунистическим силам” в СССР выпрашиваем, а возмущаемся как раз вот этими двойными стандартами, двойной “моральной правотой”. Зачем же кивать на американских либералов как на спасителей? Они ведь говорят об ответственности Америки в мире только в связи с Чили или Вьетнамом (не теперешним, конечно). Они не задают себе вопроса — “можем ли”, “должны ли”,

а, спекулируя на комплексе вины американцев, стремятся распространить свое слабодушие по миру. Ну, объясните им, пожалуйста, что можно и не радеть о Южной Африке, что "они ждали, им не помогли" и что все упреки морально справедливы только с точки зрения южноафриканских стандартов. Куда там! Вот скоро один из этих либералов, может быть, будет Вашим президентом. Хлебнете тогда горюшка.

Напор коммунистического влияния в мире — разве это исключительная забота русских? Вот, вроде бы, Вы согласны, что и Вас это заботит, но, оказывается, такая забота не плюралистична. Почему? Почему *Единство* (а не Унификация!) свободного мира означало бы утрату многих ценностей западной цивилизации? Ведь было же такое Единение перед лицом фашистской коалиции.

Далее классический американский журнализм достигает в статье таких высот, что я уже не могу связать его с темой. Совершенно непонятно, чем антивоенная истерия лучше героической. Причем тут история американского изоляционизма, если он кончился с Пирл Харбором? Зачем нам история концепции невмешательства во внутренние дела, если после Хельсинского соглашения и Пактов о правах эта концепция неприменима к проблеме прав человека?

Тема сама собой исчезает, и остаются только два вопроса, а вернее, — одно убеждение и одно впечатление: а) что армии должны быть наемными; б) что бессмысленности сталинских репрессий 30-х годов иностранцы понять не могли (и это после Кестлера и многих его предшественников!).

У читателя же остается одно впечатление — вот это здорово! Будет о чем поговорить на "коктейль партии". Только неясно все-таки: брать зонтик, не брать зонтика?..

Как пишет Чалидзе — "ответ не тривиален".

*

Бесспорно, всякие предсказания скорой революции в СССР нелепы, а пропаганда ее — преступна, как и пропаганда террора. Только сентиментальные писатели могут утверждать, что революции происходят от нищеты и бесправия народа — в момент, когда народ доведен до крайности. До конца никто не знает, отчего они происходят, но при нужде и голоде человек больше склонен к воровству, к индивидуальному бунту или к тупой покорности. При бесправии же человек о своем праве не ведает, да и слишком унижен, чтобы какого-то права требовать. Умелое правительство всегда может легко подкупить наиболее даровитых и энергичных среди этой массы разобщенных, озлобленных людей. Короче говоря, все это ведет к застою и гниению, как мы и видим в СССР. Я не знаю ни одного примера революции, случившейся в разгар сильной диктатуры. В этом состоянии, даже если бы какая-то сказочная

внешняя сила устранила существующую структуру управления, то произошла бы полная катастрофа, анархия и взаимоистребление.

Революции чаще всего случаются, когда настоящие нищета и бесправие давно позади, но накопленная злоба и недоверие к власти делает всякую реформу ненавистной, недостаточной. В этом положении нерешительное или неумелое правительство — гарантия революции.

Ждать от революции справедливости и свободы — поразительная наивность. Всякое общественное потрясение поднимает со дна общества самую муть, и — “кто был ничем, тот станет всем”. В революцию выдвигаются самые жестокие, подлые, кровожадные люди с сильными деспотическими характерами. Разбойничьи атаманы. После упорной междоусобицы наиболее жестокий и хитрый среди них сосредотачивает в своих руках всю власть. То есть революции всегда кончаются тиранией, а не свободой и справедливостью.

Может ли все это произойти в СССР? К сожалению, может, но вряд ли скоро. Пока что существующая там власть все же достаточно крепка, чтобы отказаться от любых реформ. Даже куцые косыгинские реформы не прошли в том виде, как первоначально предлагались. И в этом есть своя логика. Власти понимают, что нынешний неповоротливый бюрократический аппарат не сможет справиться с напором стихии, вызванной значительными реформами. Нет уже тех лихих мальчишек с маузерами, умевших играть со стихией. Сегодняшний коммунистический режим в СССР, пожалуй, самый консервативный в мире. Даже Хрущев оказался слишком революционным. Никаких же значительных общественных сил, независимых от власти и способных заставить власть пойти на реформы, у нас пока что не сформировалось.

Период их формирования может быть сколь угодно долгим, в зависимости от поведения правительства, международной ситуации и проч., и проч. При нынешнем положении экономические трудности не заставят власть провести значительные реформы. Таким образом, как это ни печально, но скорых улучшений ждать нельзя, не говоря уже о радикальных переменах. Можно ожидать лишь медленного роста независимых общественных сил на фоне общего застоя и разложения. Пока что проявились лишь контуры этих растущих общественных сил: национальные движения, религиозные движения, гражданско-правовое (интеллигентское по преимуществу) движение и зачатки рабочего движения.

Нынешний повышенный интерес к 1917 году, а вместе с ним и к “будущей революции” во многом вызван Солженицыным, его историческими изысканиями. Пока что мы не имели возможности прочесть все 6 томов “Красного колеса”, но некоторое упрощенное представление о его концепции получили из “Августа 14-го”, “Ленина в Цюрихе”, “Письма вождям” и интервью с Би-Би-Си. Эти-то впечатления и вызва-

ли теперь бурю полемики, негодования и обвинений в коварных политических замыслах.

Мне кажется, основная ошибка критиков Солженицына происходит из убеждения, что Солженицын — политик. И оттого так странно звучит статья Чалидзе, что на литературно-публицистические высказывания Солженицына Чалидзе пытается отвечать как на политические декларации.

Быть может, со мной не согласятся многие, включая самого Солженицына, но я не могу считать его политиком. Писатель, публицист — да. Историк — может быть (я судить не компетентен). Но не политик.

Мне возразят, что его деятельность имеет политический резонанс, касается вопросов политики. Очень может быть, но это его политиком не делает. Так же, впрочем, как это не делает политическим правозащитное движение.

В самом деле, человек, в зените своего влияния удалившийся писать многотомный исторический роман, — политик? Человек, все общественная деятельность которого сводится к помощи политзаключенным — политик?

Его самый “политический” труд — “Письмо вождям” — поражает своей наивной, вполне писательской верой в силу слова. Только-то и нужно, оказывается, что потолковать с Брежневым и Косыгиным обстоятельно, объяснить им истинные национальные интересы, призвать к покаянию, и те, вспомнив русских матерей да родные просторы, бухнут в ноги, порвут свои партбилеты, освободят женщину от каторги, и воцарится на Руси единение душ.

Другой пример, недавний, еще разительнее. Первая и вторая эмиграции имели свою *миссию*, говорит Солженицын в своем интервью Би-Би-Си, — а вот третья — не имеет. Миссия эта, оказывается, состояла в том, чтобы засвидетельствовать преступления коммунистов. В чем же разница? Третья-то тоже бежит из СССР, не обратно. Разница, видимо, в том, что первую и вторую — с миссией — никто не слушал, а третью — без миссии — слушают. И еще — первая и вторая отступили с оружием (и поэтому молодцы), а третья — без оружия убежала (бяки). (Так ведь им оружия дать не догадались!) Первая и вторая спасались от ЧК, ну а третьей надоели, видимо, черная икра и тульские пряники.

Любой человек, мыслящий политически, понимает, насколько возможность эмиграции облегчила жизнь в СССР. Какое это огромное *наше* завоевание! Ведь нельзя же ждать от народа, чтобы он и теперь, дружно, миллионнами, кидался на чекистские амбразуры. До тех пор, пока единственной наградой за сопротивление властям была тюрьма, только горстка людей на то осмеливалась. Теперь же появились шансы, что вышлют в Вену или в Цюрих. Конечно же, при таком виде наказания от желающих нет отбоя. В такой ситуации — где теперь все усилия властей воспитать ненависть к капитализму, к врагам, к Западу? По-

пытки изолировать, оболванить? И поскольку выпускают обычно самых беспокойных, протестующих, то их число растет.

Но Солженицыну и дела нет. Не любит он третью эмиграцию, нет у нее миссии — и все тут. Опять скажете — политик?

Но вернемся к его исторической концепции. Как-то, во время одной из наших бесед в 1977 году, когда я недоумевал, почему он так редко выступает, не реагирует на текущие события, он ответил, что это было бы ему очень трудно, так как психологически он живет в конце XIX— начале XX века. Этот ответ объясняет мне многое. Писателю свойственно настолько вживаться в проблемы своих героев, в их беды и муки, что они как бы становятся для него важнее реальной жизни. Нетрудно понять, что со своей обычной внутренней опаленностью, сотни раз пережив со своими героями трагедию 1917 года, он бессознательно переносит ее в сегодняшний день. Какими же близорукими, идиотскими должны звучать речи всех этих меньшевиков, эсеров и даже кадетов на фоне нашего знания последующих событий! Да и кого из нас не бесила та благодушная слепота, с которой русское общество приветствовало революцию, тот энтузиазм, с которым все бросились в пропасть. Синявский так, кажется, и Чехова готов был оттрепать за чахоточную бороденку. Мы, сидя во Владимире, как-то достали в библиотеке воспоминания Крупской о Шушенской ссылке Ильича. А там — и барашек один в неделю, и молока вволю, и еще деньги (ссылочно-му!) — и все недоволен. Ну, скотина ненасытная! Попадись нам Ильич о ту пору — живьем бы сожрали. Конечно же, досталось и царскому режиму — за мягкость.

Вот в таком-то настроении пребывая уже несколько лет да растрavляя себе душу чтением разных возмутительных исторических источников, приходит Солженицын к выводу, что все зло — от либералов. Что же, его можно понять. И то сказать, даже Керенский, кажется в 1957 году, в интервью Би-Би-Си, на вопрос, с чем бы он сейчас боролся, повторись история, ответил: "С керенщиной!"

Если б знать, где упадешь... Но хоть в будущем, в будущем-то не повторить той же роковой ошибки. А что такое будущее? Может, это уже завтра или в пятницу на той неделе? И ждать нечего. Отсюда фраза в интервью Би-Би-Си, что "опыт февраля, его осознание — это и есть самое нужное сейчас нашему народу".

В одну из бесед в том же 1977-ом спросил меня Солженицын осторожно, согласен ли я, что прямо вот так, от тоталитарного режима, перейти сразу к демократии невозможно. Нужен какой-то подготовительный переходный период. Разумеется, я был согласен, и мы дипломатически не стали вдаваться в детали, развивать эту тему. Для меня этот переходный период означал борьбу общественных сил в стране за свою самостоятельность, борьбу, в результате которой тоталитаризма все меньше, а демократии все больше, до той поры, когда и революции уже не

надо. То есть этот переходный период, с моей точки зрения, уже начался. Для него он все еще зиял впереди черным провалом. И где же тогда взять мудрого автократа, чтоб сдержать стихию? Разве что в православии... А значит, уже сейчас нужно постараться ослабить тенденции либеральные и усилить православие.

Удивительная это, конечно, мысль, что свободе и демократии нужно людей обучать, как тригонометрии. В основе ее нечто вроде порочного круга: сразу к свободе перейти нельзя, не обучены, а как же обучать в условиях несвободы? Религия тут — плохой помощник. Христианство существует почти две тысячи лет, однако не убергло нас ни от коммунизма, ни от фашизма. Тем более не спасет коррумпированная, подконтрольная православная церковь. Уж если и учиться демократии, то только в процессе борьбы за свои права (разумеется, ненасильственной). В этом смысле роль солженицынского автократа исполняет сейчас советская власть. Вот и вся сущность спора.

Казалось бы, зачем горячиться, почему для Солженицына именно сейчас враг № 1 — либералы, для других враг № 1 — Солженицын, точно уже нет советской власти?

Представим себе на минуту, что весь наш спор происходит в Москве, на чьей-нибудь кухне. Кому бы пришло в голову обвинять оппонента в коварных политических замыслах, в стремлении к диктатуре и т. п.?

Но уж так устроена эмиграция, такова в ней болезненная переоценка собственного значения, страсть к политиканству, к групповщине и партийности, что любое высказанное предположение или сомнение сейчас же истолковывается как "попытка с целью захвата власти". По мере удаления от государственных границ СССР как-то само собой теряется чувство реальности, и эмиграция начинает ощущать себя неким вторым, альтернативным правительством. Всякий спор, ссора воспринимаются как правительственный кризис, а всякий громко и веско говорящий человек — как претендент на пост премьер-министра, а то и узурпатор.

Одна эмигрантская монархическая газетка по наивности выразила это общее чувство предельно ясно: "Как только коммунисты осознают свою неспособность управлять страной, они сами пригласят законного Наследника на престол". Сцена поисков членами политбюро законного наследника по всей Европе вызывает лишь улыбки. Но посудите сами, разве более почтенные эмигранты выражаются лучше?..

"Если мне завтра предложат выбирать между советской властью и властью Солженицына, — заявляет уважаемый профессор логики А. Зиновьев, — я предпочту первую". Ну вот, наконец-то человек поучаствовал в первых в своей жизни свободных выборах! Отдал свой голос за блок коммунистов и беспартийных.

Не избежал этой иллюзии и Чалидзе. Простительно писателям верить в мистическую силу слова. Непростительно Чалидзе верить, что словесные заклинания могут заставить советскую власть трансформировать-

ся из коммунистического государства в националистическое. Прочитав с десяток дремучих авторов эмигрантских листочков, да таких, которых уже и "Правда" стыдится цитировать, он вдруг делает вывод, что весь этот вздор может оказать "политическое влияние" — "усилить в советском руководстве те группы, которые хотят национал-коммунизма". Вот те на! Смеялись, смеялись над незадачливыми советологами, над их поисками "голубей" и "ястребов" в политбюро, а сами не лучше. Да советологи хоть прямо указывают, кто есть кто. Чалидзе же просто сообщает: "В компартии, в генералитете, в КГБ". Хоть бы список приложил, чтоб знать и остерегаться. Главное же, вот ведь как влиятельна эмиграция и ее листочки. Мы тут совсем Орехова не читаем, не ценим, пренебрегаем по скудоумию, а он, оказывается, имеет влияние на политбюро! То-то я все удивляюсь, отчего это советское руководство такое глупое?

"Итак, мой вывод, мой призыв — быть осторожнее, помнить, что пропагандой отсюда мы можем не только постепенно улучшить эту систему, но и ухудшить — а ухудшение может быть страшным". Практически каждое слово этого основного вывода Чалидзе вызывает у меня возражения.

Во-первых, никакой пропагандой мы здесь не занимаемся. Наша обязанность — обеспечить гласность стране, ее лишенной, дать обрести голос тем, кому зажали рот. Есть масса людей здесь (и Солженицын среди них), которые, кроме того, высказывают свое мнение. Это — пропаганда?

Во-вторых, влияние высказанных здесь мнений на жизнь в СССР практически нулевое (влияние гласности хоть и не огромно, но весьма значимо). Люди там не глупей нас, живущих здесь. Да наши эмигрантские споры вызывают у них скорее досаду, чем интерес. То есть все то, что Чалидзе именует пропагандой, ни ухудшить, ни улучшить ситуации там не может. Наивно полагать, что внутренние, весьма жесткие законы эволюции советского общества можно изменить эмигрантской болтовней.

Неужто так трудно понять, что коммунистическая идеология существует у нас не в виде идеи, а в виде особой структуры общества, структуры весьма жесткой. Откуда этот миф о советской гибкости? Разве что из внешнеполитических успехов? Так тут ни ума, ни гибкости не надо, если Запад сам себя на лопатки кладет.

Из всех пяти пунктов "программы национал-коммунистов", доверительно сообщенной нам Чалидзе, я не нашел ни одного, который не был бы уже выполнен советской властью настолько, насколько их возможно выполнить. Что еще могут сделать власти, чтобы усилить "духовную изоляцию от Запада" или "охрану народа от идей свободы и народоправия"? Туристов не пускать? — валюта нужна. Радио глушить — дорого, да и бессмысленно. Не участвовать в международных форумах, меро-

приятнях, организациях? Уйти из ООН? Вот мы все огорчимся!

Ну, а национализм? Только и остается им всем в ЦК косоворотки надеть да еврейский погром (в Госплане) устроить. Все остальное есть. Даже и православие давно используется в дипломатических, шпионских и пропагандистских целях.

И отчего это Вы, Валерий Николаевич, вдруг так испугались, в такую панику ударились, не пойму. Родную страну забыли, что ли?

*

Несмотря на то, что права человека стали в последние годы модной темой, именно правозащитный аспект нашей деятельности остался наиболее труднопонимаемым. На каждом своем выступлении я с тоской жду вопроса, неизбежного, как тошнота при морской болезни:

— Скажите, а когда же ваше движение, наконец, откажется от ссылок на советские законы и перейдет к открытым действиям?

Нет никаких способов объяснить определенного типа людям, что правозащитный характер движения — не мимикрия, не тактика, а так же, как отказ от насилия и подполья, принципиальная наша позиция. Разумеется, для тех, у кого цель — правовое государство.

Каждый человек, испытавший произвол, согласится, что *любой* закон лучше беззакония. В худшем варианте очень плохого закона он, по крайней мере, гарантирует вам подчинение закону, обязательному для всех сторон, а не человеку и его прихоти. Даже это хоть как-то охраняет ваше достоинство.

Путь от полного произвола революции к правовому государству лежит через плохие, компромиссные, даже дискриминационные законы. Вам прежде всего нужно заставить вашего противника принять бой на выгодной вам правовой территории. В ситуации абсолютного произвола (если такой возможен) — все, что вы делаете, оборачивается против вас. Насилие плодит насилие, попытка обороняться произволом против произвола лишь увеличивает произвол.

Как только есть хотя бы какой-то закон, регулирующий ваши отношения с другими людьми и с властью, у вас появляется шанс. Во-первых, законы имеют тенденцию совершенствоваться в силу того, что система законов должна быть непротиворечива, в силу того, что меняется ситуация, и в силу вашей собственной деятельности.

Многих людей раздражает это "качание прав", кажется бессмысленной тратой сил. Даже если положительный результат возможен, достижения его медленны. Что ж —

Нам не надо скорой помощи,
Нам бы медленную помощь.

По крайней мере, не будете чувствовать себя виноватыми в произволе ни прямо, ни косвенно.

В вопросах понимания права у нас с Чалидзе не может быть много расхождений. Все же в его статье я нашел пункт, нуждающийся в обсуждении.

Безусловно, правовая область — не стихия Солженицына. Соответственно, юридические термины он может употреблять совсем не так, как это принято. Зачем же сразу видеть за этим злой умысел, заговор, далеко идущие политические планы? Уверены ли Вы, Валерий Николаевич, что он правильно употребляет слово "обязанности"? Не путает ли он его со словом "ответственность"? По существу, его мысль, высказанная в Гарвардской речи, сводится к тому, что преступники безнаказанно терроризируют общество. При чем тут обязанности? У преступника нет обязанности быть наказанным.

"Широта юридических рамок (особенно американских) поощряет не только свободу личности, но и некоторые преступления ее, дает преступнику оставаться безнаказанным или получать незаслуженное снисхождение — при поддержке тысячи общественных защитников. Если где власти берутся строго искоренять терроризм, то общественность тут же обвиняет их в том, что они нарушают права бандитов" (цит. по "Вестнику РХД" № 125).

Для меня очевидно из приведенного, что он имеет в виду проблемы, соотношения прав и ответственности за правонарушения (т. е. гарантию права).

Избавившись от терминологической путаницы, станет ли кто оспаривать, что есть такая диспропорция в западной жизни? И не нужно, как делает Чалидзе, отсылать эту проблему к властям предрержащим, коль скоро дело властей — следить за исполнением законов. Мы же знаем, что в демократическом государстве власть — более или менее функция от общественных настроений. Общественные же настроения здесь таковы, что для значительной части общества террорист — романтический герой. Метод взятия заложников стал вполне респектабельным. В Англии, например, прошлой зимой профсоюзы держали детей заложниками в больницах, вымогая деньги. Напоминать людям об ответственности или хотя бы звать к их чувству ответственности, как делает Солженицын, вовсе не вредно.

Наши американские друзья не живут в социалистической Европе, и им трудно понять, что здесь постепенно узаконивается все то, что "в интересах трудящихся" (т. е. их лидеров).

Оставив в стороне Солженицына, скажу, что и меня эта проблема живо интересует. Ведь вот представьте себе, я, например, никак успокоиться не могу, что красные кхмеры, убившие 3 миллиона человек, уже как бы осуждены общественным мнением — их же учителя, профессора французских университетов, все так же респектабельны, бла-

гополучны, лощены и даже совесть их не мучает. Для них это мода, поза новатора, хорошее положение в обществе. Для кхмеров, вьетнамцев, эфиопов и Бог знает еще кого — это потоки крови, катастрофа. И добро бы это было в новинку, но ведь уж десятки стран прошли тот же путь. Неужто нельзя этому предел положить?! Правильно сказал Сахаров о политиках, идущих следом за идеологами. Это почти закон. Нравственно эти профессора — соучастники преступления. Но ведь то нравственно, не юридически...

Неужто мы так беззащитны, бессильны? Ведь вот даже с невинным табаком нашли способ бороться. Заставляют производителей печатать предупреждения о *возможном* вреде на каждой пачке. Почему же нельзя заставить законодательство печатать на каждой марксистской книге, что изложенная в ней теория привела на практике к гибели десятков миллионов людей за последние 60 лет?

Я, помню, встретил в лагере человека, осужденного за соучастие в массовых убийствах евреев во время Второй мировой войны. Он ужасно возмущался и виновным себя не считал:

— Моя работа была только открывать дверку в газовую камеру. Закрывать ее должен был другой.

Я не могу отделаться от мысли, что все эти профессора-марксисты, так же, как и прочие безответственные люди, чувствуют себя столь же невинно, как и этот человек. Они ведь тоже только открыли дверку...

И напрасно опять касаться вопроса о том, кто же виновен больше — марксизм или "русская жестокость". Старый, шовинистический аргумент, широко используемый сейчас еврокоммунистами. Что же мне Вам, Валерий Николаевич, как еврокоммунистам, приводить примеры Кубы, Югославии и двух Германий? Мы с Вами занимаемся естественными науками и знаем, что единственный способ выявить определяющий фактор в явлении с многими составляющими — это поставить эксперимент, где все другие факторы исключены. К счастью для спорщиков, к несчастью для многих миллионов людей, коммунистический эксперимент был "поставлен" историей чисто. Ну, что еще общего между всей этой массой абсолютно различных по культуре, истории, языку, религии и т. д. стран, кроме марксистской идеологии? Какая же еще нужна "теоретическая дискуссия"? С бродячим призраком?

Если и узнал я что-то новое за последние три года, так это только, что люди везде одинаковы. Открытие мое оптимистично — поскольку дает надежду, что ТАМ будет когда-нибудь так, как ЗДЕСЬ. Но оно же и пессимистично — ведь ЗДЕСЬ тоже может случиться, как ТАМ.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Тут я имею в виду публикацию сокращенного варианта его статьи в "Новом Русском Слове" — сколько еще подобных материалов увидит свет раньше, чем выйдет полный ее, "континентский", вариант и мой ответ...
2. Невероятная — и для слишком многих непереносимая. Не делясь на "левых" и "правых", мы своим примером "соблазнили" и некоторые круги западной интеллигенции. Именно на то, чтобы и х снова разогнать по своим прежним политическим закуткам и вернуть прежнюю непримиримость "левых" и "правых", работает необъяснимое внимание западной прессы к "ссорам" и "расколам" среди диссидентов.
3. С осени 1978 года В. Буковский изучал нейрофизиологию в Кембридже. — Прим. изд.
4. Я не собираюсь, вслед за В. Чалидзе, приписывать А. Солженицыну авторство этого выражения, говорю о его употреблении в интервью Би-Би-Си.

О ЧУЖОЙ И СВОЕЙ БЕДЕ*

В эмиграции я уже почти одиннадцать лет, в Америке — почти десять с половиной. Срок немалый для представителя "третьей волны". И есть у меня некоторый опыт. В том числе — и чтение эмигрантских газет. В первые годы появление чуть ли не каждой статьи представителя нашей "волны" заставляло меня краснеть. Такое там шло легкодушное поношение покинутой родины, ее истории и ее народа, что становилось стыдно. Перед теми, кто остался дома, и теми, кто жил здесь до нас. Писавшие воспринимали всех, кто остался дома, как рабов, а себя — как героев свободолюбивых. Многие из старых эмигрантов объясняли этот феномен ненавистью к России и к русским. И трудно было объяснить это чем-нибудь другим. Но все-таки, я думаю, что это не так. Более того, если бы я усмотрел за всеми этими филиппиками такую серьезную вещь, как ненависть, я бы относился к ее носителям более серьезно — как к больным людям, но свихнувшимся на чем-то важном. Однако все эти авторы были людьми вполне здоровыми. И то, что их переполняло, в большинстве случаев объяснялось не ненавистью и не какими-либо другими глубокими чувствами, а простым петушиным стремлением самоутвердиться, крикнуть погромче. И превратить факт своего отъезда — в акт доблести и героизма. Долгое пребывание под гнетом создает у людей обманчивое ощущение, что только этот гнет мешает им высказывать гениальные мысли (хотя те, кого на самом деле переполняет желание высказаться, как показывает опыт, пишут и под гнетом), а по приезде оказывается, что эти гениальные мысли почему-то плохо вспоминаются. И пыл, приготовленный для их выражения, приходится растрчивать на первое попавшееся. Короче — они стали повторять зады большевистской пропаганды первых лет советской власти.

Тогда вся предшествующая история России неизменно представлялась в черном свете. Это соответствовало реальным интересам новой власти и облегчалось наличием устойчивой лево-радикальной интеллигентской традиции, разработанной себе на погибель в перманентной "борьбе с самодержавием". В годы сталинщины эта глупость была заменена прямо противоположной (дело шло и почти дошло до "России — родины слонов"), и поэтому возвращение к глупости первоначальной воспринималось некоторыми как возвращение к поправленной мудрости.

Кроме того, такое отношение к России соответствовало тому, что им

*Опубликовано в газете "Новое русское слово", 21 октября, 1984 г.

казалось уровнем европейской просвещенности и свободной мысли, т. е. представлениям здешних специалистов разных направлений. Одни из этих специалистов полагают, что Россия по своей природной отсталости испортила великое дело социализма, другие, наоборот — что по той же причине она в это дело, которое они отнюдь не считают великим, — ввязалась. Но историческая отсталость и атавистическая агрессивность (как исключительные качества русской истории и народа) фигурируют как нечто само собой разумеющееся в обоих случаях.

Но время шло, и люди постепенно приходили в себя. Сама "просвещенность" в тех престижных точках, которые, собственно, и были только видны эмигрантам (не путать с подлинной и высокой просвещенностью, которой здесь тоже не мало), оказывалась в их глазах не такой уж просвещенной (появились даже утверждения, что "все американцы идиоты", хотя идиотами были только те из американских интеллектуалов, на которых наши неофиты поначалу равнялись), а покинутая родина приобретала в их глазах реальные черты. К этому надо добавить, что отсутствие любви — вообще не такой уж устойчивый стимул для длительной активности — многие из хулителей России просто переходили к своим практическим делам, для чего на их "новой родине" действительно открывались неограниченные возможности (и против занятия которыми я ничего не имею: каждый должен заниматься своим делом). Во всяком случае, количество статей, хулящих Россию и русских, в эмигрантской прессе резко сократилось.

И вот — опять. В НРС от 7 сентября 1984 года появилась под рубрикой "В порядке дискуссии" статья Григория Герцикова под заглавием "Вспомним историю, взглянем на карту", в которой поются те же старые песни — правда, чуть-чуть на новый лад (в том смысле, что русский народ поносятся не полностью, а за некоторыми исключениями). Лейтмотив статьи Г. Герцикова — "русские сами во всем виноваты". Почему виноваты — это каждому должно быть ясно — стоит только заглянуть в учебник или взглянуть на карту... Поэтому и господина О. Полякова, с которым автор не согласен, он тут же публично подозревает в незнакомстве с этими источниками. В свою очередь г-н Герциков на основании его статьи самого можно заподозрить в том, что только этими источниками он и пользовался. Для его построений вполне было бы достаточно довоенного учебника истории СССР А. В. Шестакова для 3-х и 4-х классов — только оценки сменить положительные на отрицательные. Ибо и из учебника Шестакова можно понять, что Россия постепенно становилась империей, а именно на этом факте основаны все его филиппики против России и русских. Он считает, что этого достаточно для обвинения. А уж в том, что империя — это обязательно плохо, он не сомневается. И тоже думает, что для всех это самоочевидно. Между тем, и это не так. Я, например, в этом очень даже сомневаюсь.

Но это уже полемика, спор. А спорить мне с господином Герцико-

вым не хочется. Хотя бы потому, что он говорит о России: "...я покинул страну, в которой, по несчастью, родился и всегда считал чужой", а я до сих пор счастлив, что родился именно там и никогда не смогу и не захочу ее считать чужой. О чем тут спорить? Впрочем, дело не только в том, что мы по-разному думаем и чувствуем. Дело в том, что если г-н Герциков действительно так думал и чувствовал, живя в России, как он говорит, то, значит, он смотрел на все чужими, холодными, не желающими понимать глазами, а таким глазам мало что открывается в жизни. Поэтому его построения не могут не быть умозрительными, рассудочными, предубежденными. Но как же спорить с предубежденностью?

Я отнюдь не покушаюсь на право г-на Герцикова считать своей какую угодно страну. Но нехорошо, что, объявив себя чужим России, он при этом столь высокомерно судит ее и дает ей довольно радикальные "полезные советы". Нехорошо в таком тоне говорить людям о том, что многим из них дорого. Впрочем, этот закон писан не для носителей единственно правильных мировоззрений. А г-н Герциков явно чувствует себя представителем и носителем одного из таких мировоззрений, в истинности которого он не то, что не сомневается, а не допускает и мысли, что в нем сомневается кто-либо вообще. Это мировоззрение, которое он исповедует столь последовательно и беззаботно и которое дает ему право на такое учительство, формулируется просто: всяк сверчок знай свой шесток, всяк народ — свои "мононациональные" границы, и все будет хорошо. Россия из своих этих границ вышла, стала империей — вот и платится за это. Так что приход большевиков к власти — явление второстепенное. Конечно, они страшны, но в главном они занимались тем же, что и цари — расширяли границы. Так что нечего протестовать против смешения понятий "русский" и "советский": идеология мировой революции была взята русскими на вооружение для вящего оправдания своей склонности к захватам. Так что дело не в ней, а в русских. Советское — это и есть русское.

Впрочем, г-н Герциков не хочет быть расистом. Он вовсе не ненавидит всех русских как таковых. Он строг, но справедлив. Если человек все время большевистской диктатуры провел в эмиграции и в преступлениях большевизма не участвовал, он, по мнению Герцикова, — не виновен. Невиновен житель России, по его мнению, и в том случае, если даже живет в России, но советской власти не признает. Это очень гуманно со стороны г-на Герцикова, но все же как-то непонятно, — а вечная агрессивность куда девалась в этом случае? Либеральность и милосердие г-на Герцикова — не без разумных границ. Если человек советской власти не приемлет, но участвует в ее преступлениях по принуждению, то все же часть вины автор за ним оставляет. И уж совсем виноват житель страны при активном соучастии. Все это было бы просто банально и смешно, если бы наименование "русский" он заменил наименованием

“житель страны”. Казалось бы, такие критерии должны быть применимы ко всем жителям страны, а не к одним только русским. Но в статье выдвигается обвинение именно и только против русских. Почему такая несправедливость и при этом — такая ярость?

Возникает еще один вопрос: по какому праву взялся г-н Герциков выставлять отметки за поведение людям, от которых он уехал и, главное, от которых отказался? Ведь практически он требует от них героизма (попробуй не сотрудничай, если тебя, допустим, взяли в армию, да только ли это...). Для того, чтобы требовать от людей самопожертвования, нужно, как минимум, быть к нему готовым самому (да и тогда это не очень хорошо). Но г-на Герцикова вопрос о своем праве не беспокоит. Ему достаточно уверенности в правоте. И он вершит свой суд над покинутой страной запальчиво, но решительно. И все ему ясно: “Коммунизм не является причиной развала России и всех поразивших ее бед. Он является следствием многовековой агрессивной политики российского государства”. Так что ж получается — ни раскулачивание, ни коллективизация особой роли в российской истории не сыграли?

Из всей этой риторики вырисовывается забавное представление о течении истории последних веков. Среди абсолютно травоядного мира, где однажды только вспыхнула и быстро погасла чуждая его природе агрессивная звезда Наполеона, среди мирно пасущихся мононациональных овецек (типа Оттоманской, Британской, Австро-Венгерской, Французской и Германской империй) завелся единственный хищник — Россия, который во всем всегда был неправ и всем портил жизнь. За что теперь Господь (г-н Герциков привлекает к делу и теологию) жестоко наказывает ее. Как говорится, поделом вору и мука, так ей и надо.

Вот как было дело по Герцикову: “Народ России устал от непрерывных захватнических войн, экономика разваливалась. Это и послужило причиной трагических событий 1917 года...” Просто и ясно. А мы — мучились, спорили.

Правда, простота эта — странная. Начать с того, что экономика России не разваливалась перед революцией, а наоборот, развивалась, и довольно быстро, хотя и неравномерно — узким местом оставался, например, транспорт, что особенно остро сказалось во время Первой мировой войны. Конечно, Россия, как и все воюющие страны, поначалу казалась неподготовленной к длительной и тотальной войне. Но к концу шестнадцатого года промышленность страны уже полностью покрывала потребность армии в снарядах — разваливающаяся экономика этого сделать бы не могла. Так что, по всей вероятности, трагические события произошли по другой причине. Тут есть о чем разговаривать или спорить, — но ведь г-н Герциков занят не выяснением этой причины — она для него самоочевидна, — а обвинительной риторикой.

Впрочем, несмотря на всю греховность русского народа, г-н Герциков сохраняет объективность и по отношению к нему. Он доброжела-

тельно признает, что “русский народ страдает от коммунистической системы”, но тут же определяет и меру этого страдания: “...почти так же, как и другие народы этого государства”. Как взвешена эта мера, какая скрупулезность! Не больше, не так же, а почти так же! Впрочем, и это понадобилось ему не для того, чтоб вызвать сочувствие к этим страданиям, а, наоборот, чтоб в этом сочувствии отказать. Ибо — “Естественно, меч агрессии, поднятый на другие народы, ранил и меченосца”.

Та система ценностей (“монации — моногосударство”), на основании которых г-н Герциков осуждает Россию, разделяется и многими из тех, кого такое их применение к России оскорбляет и возмущает, кто использует обычно эти ценности для осуждения других. Более того, в этой системе нет ничего плохого, пока она не возводится в абсолют. Пока не начинает казаться, что все эти мононациональные участки Земли нарезал чуть ли не сам Господь в момент творения. Г-н Герциков приспособил этот абсолют к осуждению России, которая, как ему кажется, в Новое Время чуть ли не единственная нарушала эту предполагаемую заповедь, заповедь неприкосновенности чужих земель. Правда, он не ставит на России крест окончательно. Он уверен, что, когда советская империя рухнет, “на ее обломках должны возникнуть несколько мононациональных государств, одно из которых обретет прежнее имя Россия”. Так что судьба России обеспечена. Но как быть с другими мононационациями? Их в СССР больше сотни, а мононациональных государств г-н Герциков планирует создать всего несколько. Куда же остальные денутся? Можно, конечно, распределить их между этими несколькими, но проблему мононациональности этим не решишь — просто вместо одного “угнетателя” возникнет несколько. Можно и по-другому поступить. Просто взять и разделить всю территорию вышеназванной империи на число монаций пропорционально количеству душ в каждой, а потом водворить каждого на отведенную ему территорию. Правда, и это наткнется на сопротивление, причем, даже малых наций, поскольку в мире нет порядка. Чуваши, например, живут и на территории Татарии, татары — и на территории Башкирии, и попробуй сдвинь каждого туда, куда идея требует. Впрочем, ничего такого г-н Герциков не предлагает. Как представитель единственно правильного и самоочевидного мировоззрения, он предпочитает решать вопрос в главном — подсознательно рассчитывая, что подробности разрешатся, как говорят в СССР, “в рабочем порядке”, т. е. сами собой. Эта “недоработка” не мешает ему видеть сладкие сны насчет того, что́ будет после долгожданного крушения империи: “И тогда уедут русские из чужих Ташкента, Тбилиси, Таллина, — в первый раз заслужив искреннюю улыбку жителей оккупированных ранее стран. Да и русские радостно помахают рукой евреям, с не меньшей радостью уезжающим в Израиль...” Благо-растворение воздушных, да и только!

Найден выход из всех национальных противоречий — разъехаться надо. Так и просится тут продолжение этой идиллии. Вроде того, что — “И евреи помашут рукой арабам, с улыбкой уезжающим из Палестины, а арабы — евреям, радостно уезжающим... оттуда же (?) ...”. Но такого продолжения идиллии у г-на Герцикова почему-то нет. Видимо, то, что на Ближнем Востоке не до улыбок, он представляет себе ясно. Но почему-то ему кажется, что если накал взаимной ненависти в СССР дойдет до того, что люди будут срывать с насиженных мест и куда-то переезжать, они непременно начнут улыбаться друг другу.

Я не спору с воззрениями г-на Герцикова. Он свои утверждения не мотивирует и поэтому спорить с ним не имеет смысла. Я, например, не убежден, что империя — всегда хуже, чем неимперия, или что развал империи всегда означает свободу и благоденствие. В некоторых странах бывшей Британской империи ее развал освободил не народы, а деструктивные силы, и потому простому человеку (да и непростому тоже) стало не лучше, а хуже. Жизнь, как известно, сложна. Российская история и российская ситуация тоже выглядят не так просто, как в обвинительном акте, составленном г-ном Герциковым. При любом отношении и ситуации. Кстати, и мировая история тоже. И вовсе не так она противопоставлена русской, как некоторым кажется. Как говорил когда-то М. Зощенко: “...история общее достояние и общее дело, за которое следует всем краснеть”. Всем, а не только одним русским, как это кажется г-ну Герцикову.

Из сказанного не следует заключать, что история России вообще, а в предреволюционный период особенно, не переживала своих трудностей — кстати говоря, в значительной мере связанных с быстротой и неравномерностью развития. Но среди тех, кто этим кризисом воспользовался для установления однопартийной власти и тирании, были отнюдь не одни русские, а, как минимум, представители всех национальностей европейской части страны. В этой связи у многих даже возникает соблазн утверждать, что виноваты одни инородцы (“особенно евреи”), что тоже нелепо и недостойно. Но валить все на одних русских — еще более недостойно и нелепо, ибо наиболее серьезное сопротивление большевикам во время Гражданской войны шло именно под флагом России, а разного рода сепаратистские движения, даже враждебные им, большевики очень часто искусно использовали.

Все это достаточно сложные материи, разобраться в них трудно. Этим, совершенно естественно, заняты и многие иностранные специалисты — с разной степенью объективности и понимания. Что-то можно понять и извне. Но человек, считающий чужой страну, в которой он жил и рос, обычно ничего не понимает, ибо в основном занят собиранием обвинительного материала на нее. Впрочем, похоже, г-н Герциков

и этим пренебрег — он начал прямо с приговора и аргументировал его одной риторикой.

Чужую беду руками разводить — занятие нетрудное, а иногда приятное и даже привлекательное. Но вряд ли серьезное и достойное.

Наум КОРЖАВИН

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?*

Открытое письмо Генриху Бёллю

Дорогой г. Бёль,

Когда-то мы встречались в Москве и как будто относились друг к другу с симпатией. Несмотря на то, что я во многом не согласен с Вами, эта симпатия не прошла у меня и поныне. И кроме того, я по-прежнему благодарен Вам за Ваши произведения, за то, что они раскрыли миру немецкую трагедию изнутри и значительно ослабили то отчуждение, которое — чем бы оно ни объяснялось — не способствовало ни самопознанию, ни взаимопониманию людей. Это — заслуга, с моей точки зрения, непреходящая.

Я всегда считал и считаю Вас благородным человеком. И Ваша статья "Жестокий мир свободы",¹ с основными положениями которой я в корне не согласен, не поколебала моего отношения. Вы спорите с В. Буковским, но Вы отдаете ему должное как человеку и как автору. И Вы хорошо понимаете, из какой страны он приехал. Так что я пишу эту статью не для того, чтобы защитить Буковского, и не для того, чтобы объяснить Вам прелести зрелого социализма. Тем не менее, я выступаю явно на стороне Буковского.

Я никак не собираюсь соревноваться с Вами в знании Запада, но и не собираюсь игнорировать собственное восприятие и впечатления: все же я здесь уже больше десяти лет, и обо мне никак нельзя сказать, что Запад поворачивался ко мне своей парадной стороной — как Вы говорите о Буковском. Я даже могу согласиться с Вами, что употребленное им слово "беззаботность" не совсем точно для описания тех явлений, к которым он его относит (беззаботными бывают характеры, — жизнь людей в целом беззаботной вообще не бывает), однако я думаю, что само явление он описывает вполне точно. И безо всякого легкомыслия, которое Вы в этом усматриваете. Да, Вы правы, все, что им увидено, увидено глазами зэка, которого только вчера вырвали из кромешной тьмы. Спорить с этим трудно. Но весь вопрос в том, насколько этот взгляд информативен и законен, насколько абсолютен. Вопрос этот

* Опубликовано в журнале "Страна и мир", 1984, № 11.

очень серьезен, и я попробую его затронуть чуть ниже. Но и сейчас могу сказать, что дело не в том, что Буковскому, как Вы полагаете, показали две-три улицы вокруг Цюрихского вокзала, где люди — как, во всяком случае, Вы о них думаете, — не знают, куда девать время и деньги и занимаются “шопингом”, т. е. покупкой ненужных товаров.

Кстати, я не думаю, что под словом “беззаботность” В. Буковский понимал отсутствие всяких забот вообще. Заботы ведь есть даже у бездельника, а Запад населен отнюдь не бездельниками. Беззаботность для Буковского — это спокойное отношение к нормальным человеческим потребностям и возможность без сверхъестественного напряжения удовлетворить их. И возможность, особенно остро воспринимаемая именно вчерашним эзком, забывать о том, что все это может быть и совсем не так и что все это даже здесь — под угрозой. Уверен, что субъективно восприятие эзка очень остро передало суть мировой ситуации и даже ценность достижений человечества. Пренебрежительно относиться к изобилию товаров может только тот, кто ими пресытился, а в этом виноват сам пресытившийся. И не стоит Вам уж слишком сильно прислушиваться к самоощущению подобных людей.

И не они, говоря проще, воплощение Духа и Истины. Именно их справедливое отвращение к себе, осознаваемое как отвращение к недостаткам общества, и подрывает, главным образом, волю Свободного мира к сопротивлению. Дескать, зачем защищаться, если наш мир немногим лучше, чем тоталитарный. Только этим можно объяснить ту борьбу за одностороннее разоружение Запада, с которым мы сегодня имеем дело.

Вы, конечно, не думаете, что положение в СССР сравнимо с западным. Но все же для Вас оно — только одно из неблагоприятий мира, существующее как бы отдельно, само по себе, наряду с другими. Для меня же это фон, на котором происходит все остальное, и окрашивающий все остальное. Современный тоталитаризм ущемляет сегодня свободу и достоинство не только тех, кто уже у него в когтях, но и всех остальных, заставляя их соотносить свое поведение с его существованием, влияя на их мысли и даже психологию. Он внушает вполне объяснимый и в то же время иррациональный страх (или потребность в сублимации, а она тоже влияет на мироощущение многих интеллектуалов). Это ли не ущемление?

Возможно, Вы и в моих словах увидите проявление той российской мегаломании, которую Вы находите во многих из нас. Но я все-таки думаю, что это — чувство реальности. Я отнюдь не склонен относиться несерьезно к внутренним проблемам Запада, но я думаю, что решение их невозможно без сохранения свободы. Мне кажется поэтому, что само противопоставление этих проблем главной — защите от тоталитаризма — самоубийственно. Его и беззаботностью можно назвать только из вежливости.

И не стоит сейчас говорить о нашем знании или незнании Запада. Для того, чтобы перед Второй мировой войной утверждать, что демократическим странам необходимо укреплять свою обороноспособность перед лицом нацистской угрозы, вовсе необязательно было очень хорошо знать Запад (и тогда несовершенный). Было лишь достаточно понимать, что такое Гитлер и фашизм. А если вернуться к современности, то опять не получается по-Вашему. Ибо нашу оценку положения разделяют и многие люди, родившиеся на Западе, причем часто вполне образованные, благородные, — например, участвовавшие в Сопrotивлении. Так что все-таки дело не в знании или незнании, и даже не в нашей мегаломании, а в чем-то более существенном. То есть я хочу сказать, что нас отделяет от Вас нечто более существенное, чем просто наша неграмотность и нежелание подучиться.

Как нетрудно догадаться, разделяет нас прежде всего отношение к тем, кого Вы в своей статье называете "элитой". Я как-то не могу признать элитой людей, которые, по-Вашему, подпадают под это определение. В самом деле, смотрите, что Вы сами о ней говорите: "Советскому Союзу удастся — в определенной степени и до определенного времени — подкупить часть западноевропейской элиты". Очень странная элита, которую можно подкупить — пусть даже только морально. А Вы, по-видимому, имеете в виду именно моральный подкуп, ибо сразу же после этого говорите, что и в этом "отчасти виноваты" такие авторы, как Буковский, которые судят "о коллизиях некоммунистического мира лишь постольку, поскольку они отличаются от советских условий". Возможно, мы очень плохо делаем, когда так судим (хотя не думаю, что это так), но все же — какова э л и т а! Услышала то, что ей не нравится, оскорбилась, отвернулась в связи с этим от живой информации и бросилась в противоположную сторону, увлекая за собой тех, кто ей доверился, прямо в пасть тигра. Настоящая интеллектуальная элита не может в своих выводах и поведении руководствоваться одними реакциями. Все же и подумать надо, что ты делаешь и куда это приведет.

Впрочем, Ваше "отчасти виноваты" вообще уводит в сторону от того, что действительно происходило. Эта "часть элиты" если уж при выборе симпатий и антипатий на что и реагировала, так уж никак не на Буковского и его друзей, а на что-то совсем другое. Ибо когда она становилась на этот путь, нами на Западе еще и не пахло, а с тем, что говорила старая эмиграция, эта часть элиты традиционно вообще не считалась. Она (элита) стала такой до нашего приезда.² И ее поведение и психология, на мой взгляд, представляют сегодня одну из главных опасностей для существования свободы. Она сама по себе с и м п т о м культурного и духовного кризиса, переживаемого нашей цивилизацией. Возможно, кризис этот — явление исторически обусловленное, неотвратимое, но вряд ли почетно быть ферментом такого исторического

процесса. Все-таки, я думаю, слова "горе тому, через кого приходит соблазн", не потеряли своего значения и до сих пор.

Дело тут не в религиозной риторике. Соблазн — то есть состояние, когда один мотив нашей активности принимается за другой — проблема не только религиозных людей. Это очень часто замечают за собой и неверующие. И совсем не обязательно, чтобы этот скрытый подлинный мотив был низменным. Он может быть и вполне духовным. Например, стремление наполнить жизнь высоким смыслом. Что низменного, скажем, в желании облечить страдания человечества, спасти свой народ от грозящих ему несчастий? Низменное возникает (или появляется) тогда, когда вдруг оказывается, что благоденствие человечества или твоего народа имеют для тебя ценность только в том случае, если они получат его из рук твоих или твоей партии, а не из каких-нибудь посторонних.

Помню, как однажды в Москве, в конце пятидесятых, — в Европе тогда был расцвет "экономического чуда", — к моим друзьям, детям старого коминтерновца, зашел его старый друг, член ЦК одной из западных компартий. Когда его спросили, как обстоят дела в его стране, он, не задумываясь, ответил: "Очень плохо. Экономическое процветание. О революции никто и думать не хочет". Как видите, благоденствие рабочего класса без революции воспринимается им как несчастье, хотя первоначально сама революция мыслилась им наверняка как единственное средство для достижения этого благоденствия. Могу добавить, что, если Вы вспомните, революции, благоденствия не приносившие, никогда такими людьми как несчастье не воспринимались. А факт отсутствия этого обещанного, но так и не пришедшего, благоденствия в лучшем случае объявлялся случайным недоразумением. Эту случайность предпочитали скрывать от недостаточно сознательных масс и индивидуумов из тех соображений, что те неправильно примут ее за закономерность и отвернутся от идеи. Знаменитая Беатриса Вебб была искренне возмущена, когда поезд с раскулаченными, состоявший из товарных вагонов, на какой-то станции поставили рядом с другим, в котором находились иностранные туристы. И те могли свободно наблюдать из окон, как голодные дети протягивали сквозь решетки худые руки и тщетно просили хлеба. Была эта гуманная (и, несомненно, демократическая) социалистка возмущена не тем, что такой факт имеет место, а только недосмотром местного начальства, из-за которого этот факт стал известен неподготовленным людям. Сама она, по-видимому, считала себя вполне подготовленной и, очевидно, такой и была. Какое понимание бюрократических механизмов и психологии (что следует и чего не следует показывать иностранцам и кто за это отвечает), какое гордое ощущение собственного соучастия в грандиозном историческом творчестве! А ведь она и коммунисткой не была, только прогресса очень жаждала. А уж коммунистам и сам Бог велел.

Конечно, мотивы такого поведения бывают самыми разными. Разные люди. Но меня интересуют только самые честные. Как видите, и они часто, заботясь о всеобщем счастье, не так уж сильно дорожат не только счастьем, но даже жизнями тех, о ком якобы заботятся. Не то же ли происходит иногда с некоторыми нынешними "борцами за мир"? Ведь любить мир, а отчасти и борьбу за него — дело вроде бы чистое. Как говорится, есть куда поместить душу. И самоутвердиться есть в чем, а это необходимо каждому человеку, тем более интеллектуалу. И добавлю, нет в этом стремлении самоутвердиться — самом по себе — ничего плохого. Конечно, если нет путаницы мотивов. Ведь мало кто решится убить живого человека за то, что он препятствует его личному самоутверждению. Но если человек то, что он совершает для самоутверждения, принимает за заботу о спасении человечества, то убить того, кто ему мешает, ему гораздо проще: путаница мотивов влияет и на логику поступков.

Почти любой борющийся ныне за мир в Европе, прекрасно знает, что бороться против размещения советских ракет на том же континенте — бессмысленно, все равно что биться головой о стену (конечно же, не о Берлинскую, тут смысл бы был, но привлекать внимание к этой стене, то есть к советской сущности, борцы за мир почему-то не любят). Но это никого не смущает. "Советский Союз вне сферы нашего воздействия", — ответил один английский активист борьбы за мир, когда его спросили о причинах такой односторонности. Впрочем, иногда эти борцы бросаются в невероятную "объективность" — требуют разоружения обеих сторон. Но ведь это лицемерие. Подобное требование, обращенное к Западу, становится политическим фактом, оказывает воздействие, а обращенное к СССР — не вызывает там даже сотрясения воздуха, а советским руководством воспринимается скорее всего как тактический ход. И я думаю, что советское руководство ошибается не слишком; ибо острие ярости и в этом случае направлено не против советской реальности, а против западной — не существующей — агрессивности. А значит, борьба ведется только против обороноспособности Свободного мира.

И вот тут начинается для меня некоторая странность Вашей позиции. Зная, что представляет собой Советский Союз и его правительство, Вы почему-то не делаете из этого никаких выводов. В Ваших размышлениях, связанных с современным положением, это знание не участвует. Вы игнорируете это свое знание, словно вынесли его за скобки и там забыли. Как будто не висит оно над Вашей страной и свободой всей тяжестью танковых и иных дивизий, как будто речь об угрозе со стороны Албании, Гаити или Чили (к которым я отношусь не так, как Вы, но предположим, что Вы правы), или о другом провинциальном уголке мира. Нет, речь идет о мощнейшей державе, полностью зависящей от потерявшей всякое представление о жизни и ее ценностях группы случай-

ных лиц, группы, не только не контролируемой общественным мнением, но тотально контролирующей его. Я не хочу сейчас говорить о сущности современной советской власти. Но с тем, что это разрушительная и опасная сила, согласитесь, вероятно, и Вы. Не могу понять, ради каких соображений и ценностей Вы этой опасностью пренебрегаете. Неужели только для того, чтобы защитить прекрасную идею социализма от компрометации реальностью? Ведь всякое акцентирование внимания на советской опасности так или иначе задевает самую идею. Правда, существуют сложные построения, которые "ставят все на место", даже не отрицая некоторых неприятных фактов. Одно из них просвечивает и сквозь Ваши рассуждения. Конечно, признаете Вы, в СССР построено нечто бесчеловечное, но только потому, что строили неправильно. Теперь уже помочь этому трудно. Остается только защищать тех, чьи права там нарушаются (каждый раз упоминая, что нарушают их и правые диктатуры), и стараться вытащить оттуда, кого удастся, как из прокаженного города. А при следующей пробе (опять на людях) исходить уже надо будет из другой — на этот раз правильной и демократической — модели. И поэтому всерьез говорить о советской угрозе не стоит — это значит так или иначе настраивать людей на иные мысли и не располагать их к новым пробам. Поэтому в разговорах на скользкие темы следует эту опасность как-то обходить или во всяком случае уравновешивать.

Вот и получается, что многие борцы за мир (причем из самых умеренных) ставят на одну доску СССР и США. Дескать, мы — бедная Европа, зажата в клещи двумя гигантами. Неужели Вы сами не чувствуете противоестественности подобной симметрии? Вот Вы написали статью, где очень нелестно говорите об американском "милитаризме". Грозит ли Вам это чем-нибудь? А ведь на территории Вашей страны стоят американские войска, расположены американские военные базы. А если бы Вы жили в Восточной Германии, где стоят советские войска, могли бы Вы чувствовать себя в безопасности, если бы ту же самую статью опубликовали на Западе (на Востоке она не могла бы быть напечатана, так как относится отрицательно к советской модели социализма)? Полагаю, что ответа на этот вопрос не требуется. Однако бунтующие (и именно против собственной обороноспособности) студенты вызывают Ваше сочувствие и, вероятно, уже потому, что этим они доставляют боль и тем, кого Вы называете "пресыщенными сонливыми парламентариями и достойными их правительствами" (речь идет о правительствах именно демократических стран).

Должен сказать, что к "сытым сонливым парламентариям и достойным их правительствам" есть претензия и у меня. Ибо из-за своей сытости и сонливости они слишком часто идут на поводу у этих бунтующих студентов (например, в Голландии). И кончиться это может плохо. Для всех. В том числе и для самих студентов, — как Вы сами по-

нимаєте, у советської влади не побунтуєш. Так що я думаю, що к той боли, которую испытывают все эти "пресыщенные и сонливые", надо относиться с уважением и сочувствием, а вот к тому, что они эту свою боль, как это часто бывает, игнорируют при принятии политических решений, нужно относиться безо всякого уважения. В сегодняшних экстремальных условиях игнорировать эту боль — преступление.

Так мы незаметно опять подошли к размышлению о той "части элиты", о которой уже шла речь выше и которую я элитой не считаю, отказывая ей в самостоятельности и ответственности суждений. Это презрение к сытым, пресыщенным и сонливым (то есть к тем, кто нам, справедливо или нет, кажется таким) — черта, характерная именно для психологии этой "элиты". Это слова из ее лексикона, давно и хорошо мне знакомые. Эта психологическая традиция, это романтическое презрение к среднему человеку, который не всегда откликается достаточно живо на нашу высокую любовь к человечеству, особенно географически и культурно отдаленному от нас, и на наше творческое стремление устроить его жизнь согласно нашим представлениям — уже очень дорого стоило многим людям. Особенно в нашей стране. И сегодня оно дорого обходится многим людям в разных странах мира. Что означали (на человеческом языке) слова героического и романтического Че Гевары, что разумным террором (плюс, кажется, разъяснительной работой, но при любом терроре любой плюс уже не имеет значения) можно придать движению (тому, которым он руководил) настоящий размах? Я уже не спрашиваю о том, кто дал ему право так распоряжаться чужими жизнями и кто определил бы пределы такой разумности. Но интересен и социальный аспект. Кого же это Че Гевара собирался использовать в качестве примерных жертв, нужных для придания настоящего размаха своему движению? Ведь не латифундистов же?! Не их же движение собирался он возбудить. Выходит, что речь шла о тех самых простых крестьянах, счастьем которых Че и его товарищи решили посвятить свои жизни и которые тогда несколько сонливо относились к тому, что эти их защитники считали борьбой за крестьянские интересы. Так чем не творческая идея — убить некоторое количество этих "сонливых", чтобы со всех остальных сон как рукой сняло и они со страху тут же влились в ряды борцов. И какие тут могут быть сомнения в своем праве? Ведь для их же пользы. А при этом — какое удовольствие от размаха своего творчества можно получить! Ведь творишь не из глины, камня, красок или слов, а из себе подобных — по своим чертежам. И творишь не какое-нибудь отдельное художественное произведение, которому только иногда и не полностью удается поймать и запечатлеть на секунду приоткрывшийся ответ мировой гармонии (чаще в форме острого ощущения потребности в ней и ее отсутствия), а саму эту мировую гармонию живьем. Как же к этой кухне допускать непосвященных — ведь ничего не поймут и ужаснутся. Разве хорошая хозяйка под-

пускает непосвященных к плите, разве объясняет, что и зачем она кладет в суп? Может, горькое, может, сладкое — вот будет готов суп, тогда и судите. К сожалению, о том супе, который я имею в виду, мы уже можем судить вполне компетентно.

Но часто нас убеждают, что наша мнение о качестве этого супа поверхностно и превратно. Просто тот суп, который мы испробовали, варился неправильно и был недоварен. Так что колики, полученные после него нами и теми, кто ел его после нас, ничего не доказывают. Надо только постараться сварить его правильно — вопрос чистой технологии. Конечно, при этом каждая новая попытка приветствуется. Но “технология” опять подводит. А энтузиасты все равно не унимаются: результат опять не показателен, опять это частный случай.

В сущности, так же ведете себя и Вы, когда все происшедшее с нашей страной и многими другими называете “советской моделью социализма”. Это создает ощущение, что у Вас в запасе есть другие модели, получше. Но судя по Вашей статье, ни о какой другой модели, кроме термина “демократический социализм”, Вы ничего не знаете.

Все остальные модели были всегда мечтой, пожеланием, проектом. Попытки привязать этот проект к местности и тем более настаивание на этих попытках неизменно приводило и приводит к первоначальной “советской” модели. Мечта же переносится в другую страну, где производит ту же работу. Неизменно действует безответственный ленинский принцип, выраженный в наполеоновской фразе: “Главное, надо ввязаться в бой, а там обстановка покажет”. Но Наполеон это говорил о том, как выиграть сражение. Ему не слишком надо было учитывать, что будет после того, как он разобьет противника. Лениных, больших и маленьких, это должно было бы интересовать в первую очередь. Но не интересовало и не интересует. Они захватывают власть, а потом ей служат.

Тоталитарное государство из этой ситуации вырастает вполне естественно. После этого уже все равно, что “показывает” обстановка. Думать имеет смысл только тогда, когда еще есть выбор. В нашем варианте — сегодня. Завтра уже будет поздно. И меня очень удивляет, что Вы этого не чувствуете, что Вы локализовали все неприятное для себя в слове “советский”, отбросили его в сторону, как нечто внешнее, не имеющее к Вам отношения. Вы, например, пишете: “К чему стремился в свое время Агостиньо Нето в Анголе, чего хотел Фидель Кастро на Кубе? Поначалу они не ставили своей целью воспроизвести советскую модель. Они мечтали о демократическом социализме, но осуществить эту модель им не удалось. А так как они не хотели и “чистого” капитализма, их силой загнали в социалистический лагерь. Загнали именно капиталисты, антикоммунизм которых даже не состояние духа, а инфекционная болезнь”.

Конечно, мы с Вами на многие вещи смотрим по-разному. Но Ваши

слова о том, что Кастро и Нето не хотели сначала “советской модели”, меня удивили. Сначала ведь к ней не стремились и сами советские деятели. Сначала к ней никто не стремится. Беда в том, что потом от нее никто не отказывается — когда становится ясно, что иная “не удается”.

Ваши слова “даже не состояние духа, а инфекционная болезнь” мне кажутся точными, но только не по отношению к “антикоммунизму капиталистов”, а по отношению к антикапитализму интеллигенции, действительно распространяющемуся, как инфекция. Даже многие капиталисты подвержены этой инфекции, считают антикоммунизм неприличным и финансируют если не прямо различного рода коммунистические организации, то движения, к ним наиболее терпимые. Но удивило меня в этой цитате не Ваше мнение, а сама логика развития мысли. Допустим, Вы правы, и у Кастро и у Нето была мечта, осуществить которую не удалось, то есть оказалось, что установление демократического социализма (того очень хорошего, обещанного ими, ради которого они взбаламутили жизнь миллионов людей) неосуществимо. Пусть только в данный момент и в данных условиях, но — неосуществимо. Даже если неудача определялась конкретными обстоятельствами (впрочем, почему-то они всегда и везде неблагоприятны), творцы жизни обязаны были их учесть. И это их вина: не спросившись броду, сунулись в воду и завели людей в топкое место. Тут бы самое время прощения у людей просить, стараться стать невидными и неслышными. Но нет, творцы испытывают совсем иные эмоции. Они, оказывается, не хотят, — не хотят обратно в “простой” капитализм, то есть в ту не всегда гармоничную, не совершенную, но все же человеческую жизнь, которую разрушили; не хотят признать поражения и не хотят прекращения эксперимента над соотечественниками. И толкают всех к тому, что Вы сами безо всякого одобрения называете “советской моделью”, то есть в тоталитаризм со всеми его прелестями. И — что поразительно — Вы рассматриваете эту их деятельность с трагическим сочувствием. Нет, не капиталисты этих деятелей, а эти деятели свои народы загнали туда, где ни одному народу не может быть хорошо или хотя бы сносно. И гонят все дальше. А из каких эмоций они при этом исходили — не так уж важно. Для тех, кого загнали, ясно, что не из очень хороших. Но Вы, как ни странно, склонны больше интересоваться внутренними драмами загонщиков.

Про режимы, созданные такими загонщиками, иногда говорят, — конечно, если находятся на безопасном расстоянии от них, — что они, по крайней мере, уничтожили в своих странах голод. На самом деле они просто научились вовремя и аккуратно вывозить трупы умерших от голода с главных улиц, чтобы не оскорблять взором иностранных идеалистов. И уж во всяком случае научились заставлять недоедающих помалкивать, не выносить сор из избы — если до голодных трупов, в отличие от СССР и Китая, дело не доходило. Или если эту ситуацию удалось потом, как в тех же СССР и Китае, смягчить. Подчеркиваю: ситуацию, созданную самими режимами, а не доставшуюся им в наследство.

Опыт, прежде всего советский, показывает, что только очень немногие из таких людей умеют признать, что “осуществить мечту не уда-

лось, что они потерпели поражение и то, ради чего они, никого не жалея, захватывали власть, таким путем не достигается. Сознаться в этом страшно, и большинство на это не решается. Приходится идти дальше. И постепенно они начинают служить собственной власти, как самоцели. Интересы этой власти и заводят их в "советский лагерь". Конечно, это их не всегда спасает. Следы бывшего идеализма могут сделать их неудобными для созданной ими власти, и власть от них избавляется. Но бывает и иначе. Кастро, например, развивался вместе со своей властью и отвечает ей до сих пор.

Не могу понять сочувствия, с которым Вы говорите о тех нескольких стах коммунистов, которые отважились, краснея втайне, может быть, содрогаясь, прочесть книги "изгнанников из России". Дальше Вы говорите, что на воздействие этих книг на таких читателей отрицательно сказывается та небрежно-залихватская манера, с которой авторы этих книг пишут о Западе и дают ему советы. Это будто бы ставит для читателей под сомнение правдивость этих книг и в остальном.

"Небрежно-залихватская манера", "небрежность и высокомерие" — это Ваши личные оценки, с которыми согласятся не все (я, например, с ними не согласен). Но, допустим, Вы правы. Что же получается? Почему эти люди читают интересные им книги "втайне"? Они ведь еще не победили на Западе, и тюрьма за чтение книг им до полной их победы не угрожает. Согласитесь, что это "втайне" кое-что говорит об их партии и о том, что они вместе с ней несут людям. И дальше — почему, "краснея" и "содрогаясь", они все же остаются в этой партии? Причины, конечно, чисто духовные. Но не кажется ли Вам, что это — д у х о в н а я ж и з н ь з а ч у ж о й с ч е т ? И что они по своим духовным причинам будут всегда стараться найти (и найдут) основания для того, чтобы поставить под сомнение то, что мешает их духовной цельности? А ведь некоторых коммунизм затягивает еще и материальной заинтересованностью. Разные подачки (за заслуги, конечно) постепенно входят в семейный бюджет. И поверить авторам запрещенных в СССР книг значит уже не только остаться в пустоте, но и нарушить налаженный ход жизни. И это тоже располагает к недоверию...

Но речь не о материальном, а о духовном соблазне (материальный в любом случае наступает потом). Я не считаю элитой людей, которые втайне краснеют, содрогаются, но боятся истины. И считаю, что в восьмидесятые годы двадцатого века быть коммунистом или нечестно, или глупо. Время, когда коммунизм мог быть "всемирно-историческим заблуждением", давно кончилось: слишком много информации о нем с различных континентов лезет в уши и глаза. Именно поэтому у меня нет ни тени симпатии к тому воображаемому турецкому профсоюзнику, о котором Вы говорите. Какие бы ни были сегодня репрессии в Турции, если он придет к власти, они станут несравнимо страшней. Ибо у сегодняшних турецких властей (даже если они так плохи, как Вы ду-

маете) нет иных целей, кроме как сохранить тот порядок, который не они придумали, а у той партии, к которой принадлежит этот человек, есть планы, касающиеся самих основ бытия. И террора, при попытке претворения их в жизнь, эти планы потребуют настолько много, что потом он станет самодовлеющим и превратится из средства в цель. И в повседневность. Ибо основы нашей негармонической жизни имеют тенденцию сопротивляться, что особенно возмущает идеалистов с наганами и оправдывает в их глазах любой террор (ведь убивают как бы не людей, а неприятную и неодолимую косность жизни). Хотя, если даже относишься к жизни как к материалу, то все равно глупо возмущаться и удивляться, что сталкиваешься с ее сопротивлением.

Возможно, он, этот турецкий коммунист, — хороший человек. Возможно, он действительно возмущен язвами окружающего его общества. Но он человек, опасный для окружающих, ибо, зная о том, что такое Советский Союз (во всяком случае, будучи обязанным и имея возможность знать), он все равно непосредственно связан с его руководством и толкает свой народ в ту же сторону — во имя личных своих духовных и душевных обстоятельств. И даже если он окажется честен после победы своей партии и будет ею за это расстрелян, это никому уже не поможет. Мавр к тому времени уже сделает свое страшное дело.

Однажды я встретил двух латиноамериканских коммунистов, людей приятных и культурных. Более того, они прекрасно знали советскую действительность (учились в СССР) и, надо сказать, ненавидели советское руководство. И, к их чести, не переносили этой ненависти на русский народ, как это часто бывает. Обюрократившуюся верхушку своей собственной партии они тоже оценивали весьма трезво. И тем не менее, оба остались не только членами, но и бескорыстными активистами этой партии, хотя один из них говорил: "Если мы победим, я тоже эмигрирую, как Вы". Объяснял он это тем, что в первые сто лет после победы социализма интеллигенту бывает очень плохо, а отказываться от интеллектуальной жизни он не хотел.

Это был когда-то хороший и совсем не глупый человек. Но видите, до чего его довело слишком тесное общение с марксистской диалектикой. Ладно, сам он уедет (если будет еще куда уезжать), а куда денутся простые люди и без того бедной его страны, те, для кого он все это придумал и кого он на все это обрек? Ведь любая страна при социалистическом хозяйствовании, если была до этого бедной, становится нищей; если была нищей, становится голодной; если была голодной, становится вымирающей. Ведь все это проверено на практике. А уж о свободе и говорить нечего. А ведь свобода — это вовсе не изыск, необходимый только одним интеллектуалам для приятного проведения времени, необходима она и самым обыкновенным людям. Если у них отнимают свободу, то отобрать после этого хлеб (о котором так пекутся идеалистические материалисты, что с легкостью жертвуют ради него свободой) вообще не представляет труда.

Все это мои собеседники, в общем, знали. Это их даже смущало, но не останавливало. Перспектива все осознать до конца и лишиться всего, что наполняло их жизнь, пугала их больше. Еще раз повторяю: это хорошие люди, и я надеюсь, что они в конце концов образумятся и откажутся от коммунизма. Но проблема, если речь идет об интеллектуалах, остается все той же: **духовной жизнью надо жить за собственный счет.**

Незаметно мы коснулись проблем третьего мира. В Вашем письме они занимают очень большое место и играют специфическую роль. Вы все время колете нам глаза равнодушием к страданиям людей в этих странах. Вам кажется, что люди, которых Вы от нас защищаете, в этом отношении намного чувствительней нас. Даже говоря о проблемах Запада, которых мы недооцениваем, Вы по ходу дела подменяете их проблемами Центральной и Южной Америки (проблемы почти полностью освободившейся от колониализма Африки Вас почему-то волнуют гораздо меньше).

Действительно, очень большая часть человечества недоедает. Но разве кому-нибудь станет легче, если остальная часть человечества тоже лишится свободы и хлеба? Ведь от этого станет только хуже: голодные страны лишатся даже той помощи, которую сейчас получают от сытых. Да и всякого ориентира тоже, и надежды, основанной на том, что жизнь бывает иной. К тому же жителями развитых стран тоже не стоит так уж легко жертвовать, — им это может не понравиться. Они тоже люди и знают, что благосостояние их добыто трудом и предприимчивостью многих поколений. Не надо уж так совсем не считаться с их чувством собственного достоинства и справедливости. Не стоит создавать в их сознании представления о культуре и мысли как о чем-то противостоящем их самым насущным интересам. Не стоит создавать такую ситуацию, когда люди нацистского типа в глазах многих начинают выглядеть единственными их защитниками и патриотами, когда перед человеком встает страшный и безысходный выбор: Сталин или Гитлер.

Вы много внимания уделяете ужасам правых диктатур. Говорите, что если бы мы сами оказались в их лапах, мы запели бы по-другому. Я тоже не в восторге от генерала Пиночета. Но что из того? Он спас свою страну. Потому что прежний правитель, милый и образованный Альенде, допустил в стране анархию и не был в состоянии или не хотел ее унять. А в условиях этой анархии подбирались к власти люди, может быть, не всегда столь образованные, но всегда более решительные, чем Альенде. И от них избавиться было бы уже невозможно. И тогда все страдания, какие теперь они терпят при Пиночете, выдуманные и реальные, даже либеральным активистам показались бы счастливой сказкой. Все-таки при Пиночете не только экономическое положение улучшилось (сейчас оно хуже, чем в первое время, но все же), но и многочисленные антиправительственные демонстрации были еще возможны. Попро-

буйте проведите их в освобожденной Никарагуа. Теперь там даже враждебная Сомосе, но при нем выходившая и сохранявшая лицо либеральная газета "Ла пренса" находится при последнем издыхании. И издохнет (или подвергнется унификации): тот, кто строит небывало лучшее общество, кто взял власть для того, чтобы накормить и утешить людей, но сделать этого не в силах, не может допустить, чтобы ему об этом напоминали, чтобы всякое бесплодное умствование мешало "работе". (О том, что под словом "работа" он понимает сохранение власти, он на первых порах старается не догадываться. А печать тем временем в Никарагуа уже под контролем армии.)

Нет, мне не нравятся пытки и истязания, даже когда они применяются к тем, кто сам при возможности будет их применять в индустриальном масштабе. Мне не нравится, например, как поступили с радикальными идеалистами в Аргентине. Это, конечно, ужасно, когда люди исчезают среди бела дня, а потом их находят на дне морском. Но мне кажется, что и тот террор, который развернули в стране многие из потом пропавших (перед тем, как пропасть), тоже был плох, хотя прогрессивная пресса о нем и не писала. Разумеется, то, что делала хунта, недопустимо в цивилизованном государстве, но с террором, намеренно дестабилизовавшем жизнь целой страны (с тем, чтобы в хаосе захватить власть — конечно, во имя будущего счастья), как-то надо было кончать. И вряд ли с ним можно было кончить так, чтобы Вы остались довольны. Тот, кто прибег к террору как к средству, должен знать, что это средство обоюдоострое, что за это можно заплатить кровью — собственной, героической, а не только какой-либо другой, "сонливой".

Правда, бросается в глаза следующее: матери пропавших не сидели тихо, не "помалкивали в тряпочку", выстаивая часы и дни в тюремных очередях, как это было у нас, а собирались на площадях, митинговали и протестовали, задавали вопросы. И даже преступной хунте это не казалось преступным, поскольку для матерей это естественное поведение, а не политическая деятельность. От нас же в свое время требовали проявления солидарности с палачами наших близких и отречения от них. Нам навязывали "состояние активной несвободы", как определил это живущий во Франкфурте талантливый эмигрантский публицист Роман Редлих. Впрочем, у нас еще была не последняя степень воцарения этой несвободы. В Китае Мао Цзе-дуна было еще хуже. Люди обязаны были высказывать восторг, пускаясь в пляс на торжествах, устраиваемых в честь казни их родителей, детей или мужей.

Вы воюете против правых диктатур, против авторитарных государств. Спору нет, порядки в некоторых из них весьма жестоки, даже применяются пытки. В СССР в настоящее время они, видимо, не применяются (хотя раньше применялись широко). Впрочем, психиатрический террор еще страшней и кощунственней, чем пытки. Но даже если отвлечься от этого, все равно не торопитесь делать вывод, что поло-

жение в СССР лучше и легче, чем в Аргентине или Чили во время террора. Прежде всего потому, что СССР — давно и многократно расстрелянная страна. И для того, чтобы ее терроризировать, пытки не нужны. В СССР в течение десятилетий происходили не расстрелы, а планомерный отстрел, причем не только тех, кто поднимал голову, но и тех, о ком по косвенным соображениям могло возникнуть подозрение, что они когда-нибудь могут захотеть ее поднять. В сущности, в стране разрушены все нормальные социальные связи (остались только связи на личном уровне; они часто очень тесны и содержательны, но реально противостоять власти ни в чем не могут). И потом, есть еще одно существенное отличие изначально правых диктатур от левых и тех, в которые они неизменно вырождаются. Правые диктатуры подавляют, и иногда жестоко, своих политических противников, но людей, к политике не причастных, не трогают. Не трогают ни Церкви, ни частной собственности, ни банков, ни профсоюзов, ни многих иных видов человеческой деятельности, то есть не трогают те структуры, на которые в любой момент может опереться демократия. Примерно так сформулировал отличие авторитаризма от тоталитаризма Элиот Эбрамс в своем выступлении в Гарвардском университете. Тоталитаризм, как известно, на все это посягает. Я же формулирую еще проще: авторитаризм контролирует всю государственную и политическую деятельность общества; тоталитаризм же стремится захватить полностью все стороны общественной жизни, уничтожить само общество и подменить его собою.

Поначалу он делает это из соображений идейных. Потом, становясь все более чуждым любым идеям ввиду их неприменимости, он постепенно превращает идеи из цели в средство и камуфляж. Но деваться ему от них некуда, ибо по форме он — идеократия. И он вынужден навязывать обществу нечто бессмысленное и нелогичное, мертвую имитацию, пустоту небытия. А это требует большой крови. Таким “гуманным”, как сегодняшний советский, тоталитаризм может стать, только полностью подавив и сломав общество. У нас это почти произошло.

И еще одно. Почти метафизика. Есть разница между злом, которое происходит от естественного человеческого копошения, от хищничества, корысти, жестокости, тупости, вносимых людьми и в государственную жизнь, иногда накладывающих отпечаток на нее, отпечаток неприятный, — от зла, творимого целенаправленно и организовано в надежде, что из него сконструируется добро. В первом случае это человеческая стихия, которую человечество всю историю стремится урегулировать так, чтобы это стихийное зло было введено в границы. Во втором — зло применяется сознательно в процессе творческой переделки одного человека по приблизительным чертежам другого. Оно всегда абсолютно. Ибо задача эта безгранична. Эта претензия на божественное творение, и от смертных она требует жестокого отношения к материалу и стойкости в этом бессердечии. До тех пор, пока оно не приводит та-

ких "творцов" к собственной гибели и к таким властителям, по сравнению с которыми даже те, что были до сих пор, кажутся идиллическими. Эти последние уже окончательно приводят жизнь к пустоте небытия, вооруженной и непобедимой.

Я, конечно, понимаю, что, как говорят в России, подставляю борт под огонь. Могут сказать: что это за демократ и либерал (а демократом и либералом — в старинном, правда, смысле — я себя считаю до сих пор), который говорит такое? Но так эти мои слова могут воспринять только те, для кого всякий выбор в политике — выбор между плохим и превосходным. К сожалению, жизнь часто оставляет нам выбор только между далеко не очень хорошим и ужасающим. Если уйти от реально стоящего выбора и выбрать в этих обстоятельствах "замечательное", отвергая "далеко не очень хорошее", практически выберешь ужасающее.

Если бы в России в 1917 году генералу Корнилову удалось захватить Петроград, вероятно, не обошлось бы без кровопролития, за которое его до сих пор бы проклинали (ибо условия, при которых его можно было бы проклинать, он бы своим взятием Петерограда обеспечил). Но большинство из проклинавших вряд ли догадывалось бы, что если бы не Корнилов, их бы просто не было на земле. Да, авторитаризм — не демократия. Но он оставляет условия, из которых она может развиваться (а иногда и уступает ей власть). Из тоталитаризма же демократия восстановиться не может (разве что в результате мировой войны, как это было с нацистской Германией), а уж сам тоталитаризм никогда и никому власти не уступит — скорей согласится на конец света.

Все это неоднократно подтверждено жизнью, но жизнь — не аргумент для безответственного идеалиста. Он упрямо хочет добра и творит зло. Он хочет демократического социализма (а это то же самое, что травоядный тигр) и согласен ради этого установить и поддерживать тиранию. А потом долго не будет верить своим глазам и будет рассматривать созданную им коллизию исключительно как трагедию своей веры, как внутреннюю трагедию, в то время как расплачиваться за это поначалу будут только другие. И не стоит приспосабливать к этому пиру себялюбия христианство. Конечно, Христос требовал от людей сочувствия бедным и униженным, требовал даже отказа от имущества. Но все же плакаты, изображающие Христа с автоматом, и епископы, извиняющие террор, это, выражаясь Вашими словами, "причастие буйвола". И обращаясь к рассказу об Анании и Сапфире из Деяний Апостолов, Вы совсем не опровергаете им утверждения В. Буковского и В. Максимова (первым сказал это Максимов), что христианство призывает раздавать имущество свое и добровольно, а социализм — отбирает чужое и силой. У Анания и Сапфиры никто и ничего не отбирал силой. Они добровольно вступили в общину, где от каждого требовалось отказаться от имущества, и взяли на себя это обязательство. Наказаны они были

за то, что обманули, что этих добровольно взятых на себя обязательств они не выполнили. Ничего общего с проповедью насильственного отчуждения имущества эта история не имеет — другой, как говорится, юридический казус. Христос никогда не берет в руки автомат.

Но из этого никак не следует, что автомата не должна брать в руки полиция. **О х р а н я т ь** порядок силой можно и нужно. **Т в о р и т ь** мир силой нельзя и преступно. Похоже, что Вы больше сочувствуете тем, кто думает наоборот: полиция, беря в руки оружие, совершает преступление, а брать в руки оружие для переделки мира и установления в нем справедливости чуть ли не почетно, во всяком случае извинительно. Собственно в этом, как говорили в России в старину, “наши разногласия”.

Разногласия эти серьезные, можно сказать — судьбоносные. Вот, например, недавно вся леволиберальная интеллигенция была возмущена американской агрессией в Гренаде, нарушением международного права. Кричали, шумели, антиамериканские демонстрации устраивали. ...Впрочем, демонстрации “против Америки” устраивали и на Гренаде, только другие: протестовали **п р о т и в** у х о д а американских войск с острова. (Не против прихода. Приходу радовались, как неожиданно избавлению от последствий собственной ошибки. Когда-то ведь сами проголосовали за революционное правительство, попробовали, поняли, да поздно: стали собственностью прогресса.) Но кого на Западе интересуют их чувства и их опыт? Прогрессивной общественности в мире много (и вся она писучая), а население островка мало, заглушить его голос просто. Но надеюсь, история не забудет, с какой яростной настойчивостью эти свободолюбцы стремились (во имя права, что ли?) затолкать население Гренады назад в тоталитаризм.

Впрочем, может быть, это делалось во имя продолжения эксперимента. На этот раз “прогрессивная общественность”, видимо, особенно жарко верила, что он завершится удачей и “сказка станет былью”. И вот проклятые американцы опять все испортили. Правда, реакция населения на их приход и уход ясно показывает, что этот эксперимент постигла судьба предыдущих. Но разве можно считаться с мнением подопытного кролика?

Или еще: сейчас в моде сочувствие Сальвадору. Конечно, не правительству, а повстанцам, в значительной степени просочившимся туда из соседнего Никарагуа, практически — с Кубы. (Да, той самой, выбравшей “по вине капиталистов” советскую модель и, следовательно, ее же теперь и экспортирующей.) Правда, тут речь идет уже не о международном праве (экспортировать такие вещи оно запрещает), а о праве народа выбирать свою судьбу. Но народ в Сальвадоре попался несознательный и партизанам не сочувствует — вероятно, от близкого знакомства. И есть опасность, что выберет народ свою судьбу “неправильно”. Да и по совести сказать, зачем ему трудиться выбирать, когда пере-

довые и самозванные его представители давно уже за него все выбрали. Из этих соображений и был среди народа перед предпоследними выборами распространен партизанами призыв бойкотировать выборы. Дескать, вот победим, будут "наши" выборы, тогда голосуйте, не ошибетесь. Дадут вам кандидата и позволят сделать его депутатом.

Но стране это не понравилось, и она в голосовании участвовала. Все иностранные наблюдатели говорили, что выборы были правильные. Все прогрессивные интеллигенты издалека разглядели, что неправильные. Но, видимо, сами партизаны больше склонялись к мнению интеллигентов. И решили принять меры. Поэтому они явились в одну из доступных им деревень и расстреляли всех участвовавших в голосовании. Расчет простой: в следующий раз будут знать, как не реагировать на призывы. А то их убеждаешь, а они не слушают. Ничего не скажешь, — разумно.

Правда, пока еще террор не дал нужных результатов. Население и в следующих выборах участвовало. Но ведь и у партизан трудности: руки не до всех дотягиваются, империалисты мешают. А без тотальности террор теряет в разумности. Но, даст Бог, с помощью либеральной интеллигенции удастся скрутить руки американцам ("Американцы, вон из Сальвадора!" — так, кажется?). Их помощь прекратится. А партизанам — нет. Кто же будет протестовать против помощи прогрессу?! И тогда террор станет по-настоящему разумным. И все увидят, что народ Сальвадора дружно бойкотирует буржуазные выборы. Тем более, что многие и сейчас хотят это видеть. Нет, разумный террор — штука действенная.

Во Вьетнаме, например, такой случай был. Подразделение американских агрессоров в сопровождении их южновьетнамских прислужников продвинулось вглубь района, где действовали герои Вьет-Конга. В группу входили в основном медики, поэтому они занимались лечением людей, долгое время оторванных от всякой медицины. Но герои были на чеку. Оперативные группы продвигались вслед за американцами, входили в те же дома и убивали каждого, кому была оказана медицинская помощь. Чтоб все знали, кто такие американские агрессоры и каково с ними иметь дело. И когда одного из героев все-таки поймали, он мужественно заявил, что ничего не боится, так как любой деревенский староста его тут же выпустит, как только американцы уйдут в другое место. Ибо староста хорошо знает, что с ним сделают в противном случае вьетнамские партизаны. Но благородная вера героя в разумный террор была на этот раз жестоко обманута. Произошло невероятное. (Тут уже должны всерьез включиться чувства прогрессивной интеллигенции.) Американский офицер не выдержал, вынул пистолет и выпустил обойму в народного героя. Без суда и следствия. Почему-то ему показалось невыносимой уверенность героя в своей безнаказанности. За это он подлежал военному суду агрессоров (законников среди них много).

Но никто его почему-то не выдал. И я бы тоже не выдал.

Впрочем, во Вьетнаме прогресс, как известно, победил. Бой был выигран, правда, не на полях сражений, а на Западе, на страницах газет, в университетах, в Конгрессе США. Тоталитаризм в этой борьбе обрел мощных союзников, таких, которые, может быть, и выражали часто недовольство тоталитаризмом (для его же пользы, хотя его это и сердило), но никогда не изменяли ему; точнее, не изменяли своей традиционной ориентации, намертво связанной с тем, что этот тоталитаризм породило.

Даже судьба "лодочных людей" не смогла разорвать эту связь. Подумайте только: во Вьетнаме создано такое положение, что люди предпочитают отправиться в открытое море на ненадежной лодке, рискуя вместе с семьей погибнуть (и сколько десятков тысяч действительно погибло), только бы избежать той участи, на которую их обрекли при участии Ваших единомышленников. Тут бы волосы на себе рвать: "Меа кульпа!". Но нет. Никто не отвлекся от очередной защиты очередных революционеров, несущих то же самое другим народам. И то сказать: тут ведь нет нарушения прав, в чем обвиняют Сальвадор; тут п р а в о т а к о е, и оно не нарушается. Этим правом и стараются люди, которым Вы симпатизируете, заменить то обычное и несовершенное, которое пока позволяет нам с Вами и миллионам других людей сохранять свободу и достоинство.

Но зато, — пока им еще не удалось убить демократию, — какая радость творить. И даже только сочувствовать творению. А о том, что из этого получится, можно ведь не думать. Как говорится, движение — все. Цель — ничто. Но все же: за чей счет! Это тоже имеет значение, по моему.

Что-то неблагополучное творится в нашей общей культуре, если традиционная ориентация так подводит ее деятелей, даже таких честных, как Вы. Особенно остро я ощутил это, побывав в Испании, в Мадриде и Толедо, на месте боев гражданской войны 1936—39 гг. Мы все тогда сочувствовали республиканцам, вся европейская интеллигенция. О себе и моих друзьях я и не говорю. Нам тогда даже нравилось, что власть постепенно переходит к коммунистам. Другие же просто на это закрывали глаза. А ведь там уже тогда происходили страшные вещи. Вот, например, эпизод из времен осады Алькасара. Командование народной милиции предъявило осажденному гарнизону ультиматум: если крепость немедленно не капитулирует, то специально доставленный в штаб милиции сын коменданта крепости будет расстрелян. Сыну-подростку дали возможность сообщить это по телефону своему отцу. Отец посоветовал сыну поручить душу Богу. И сына расстреляли. Не знаю, кто был тем командиром народной милиции, который это сделал, чем он жил, что любил. Может быть, он и раскаялся в содеянном. Не знаю, что с ним было дальше. Но я утверждаю, что дело, которое он защищал, не было

правым. Ходил я по этой крепости (теперь там музей), видел фотографии ее защитников. Простые крестьянские или служилые лица солдат, дворянские лица офицеров. Вероятно, на республиканской стороне было больше лиц, которые показались бы мне близкими. Романтики, интеллигенты, мыслители... Однако...

Кстати, как романтически я обожал борцов интернациональных бригад, приехавших в Испанию бороться с фашизмом, а чаще — за социализм. Но теперь я понял, что вмешиваться в чужие дела следует осторожно. Байрон умер за Грецию, но никаких своих порядков он в ней установить не стремился. Большинство борцов интербригад все же имело в виду социализм. А при этих бригадах бывали и "особые отделы", которые подходили к людям с классовых, в лучшем случае, позиций. В этом качестве местные деятели были все же лучше. Один мой знакомый рассказывал мне про своего дядю. Дядя жил во время гражданской войны в Мадриде, а сочувствовал националистам. Ему грозил арест и расстрел. Тогда он обратился к своему приятелю, который сочувствовал красным и в их среде был влиятелен. Приятель знал дядю как хорошего человека и помог ему выпутаться из беды. Когда победил Франко, дядя помог и этому приятелю, и многим другим республиканцам, о которых в свою очередь знал, что они хорошие люди. И люди уцелели. (А ведь под горячую руку можно было бы и пострадать.) Интернационалисты же корней в этой стране не имели и никаких личных симпатий к посторонним им людям питать не могли. Они поневоле в этих обстоятельствах бывали принципиальней, то есть жесточе, ибо руководствовались одной идеологией.

Проектировать основы бытия вообще не стоит, а бытия мало знакомых тебе народов — особенно. Например, хороший человек, интернационалист Матэ Залка был очень возмущен, когда русскому поэту Осипу Мандельштаму дали комнату в Москве. Его волновал идеологический вопрос: как это так, комнату дают буржуазному поэту, когда не хватает и для революционных. Может, даже он увидел в этом элемент перерождения революции, кто его знает? Думаю только, что если бы он не погиб в Испании ("генерал Лукач"), то, выйдя из советского лагеря, от которого он бы точно не уберегся, он потом бы очень стыдился своих былых чувств. А ведь если бы тогда все вышло, как он хотел, большой русский поэт не имел бы над головой крыши даже в тот короткий период, когда она у него могла быть. В общем не осторожно это — устанавливать шкалу ценностей и решать судьбу страны, с которой ты до конца не сжился. К странам Центральной и Южной Америки это относится в полной мере.

Не знаю, прав ли был Франко, подняв мятеж против либерального правительства, даже если оно совершало ошибки. Но ясно для меня одно: после того, как в дело вмешались коммунисты и Сталин, Франко стал спасителем отечества. Во всяком случае, посетив Испанию, я могу

сказать, что хотя экономическое ее положение оставляет желать лучшего, эта страна существует в целостности и сохранности, в живой цельности и неразрывности своей истории. Вот простой факт. При мне, когда я там был, умер "испанский Чапаев" — Кампесино. Биография его сложна. Во время гражданской войны он отличался храбростью и жестокостью к своим и чужим. После поражения поселился в СССР и там скоро был посажен в лагерь. Из лагеря бежал, причем за границу. Это кажется фантастикой, но это правда. После бегства выступал в Париже свидетелем на политическом процессе, изобличавшем сталинские лагеря. Все это по случаю смерти Кампесино было напечатано в газетах, в общем относившихся к нему без симпатий. Однако напечатано, ибо эта колоритная личность стала частью Испании и ее истории. У нас в СССР после Гражданской войны и до самой Второй мировой вообще нельзя было встретить ни одного бывшего белого. Им нельзя было себя обнаружить, даже если они были официально зарегистрированы (и при этом не расстреляны и не отправлены на Соловки) .

Очень реабилитировал в моих глазах Франко один разговор с родителями моего друга. Во время гражданской войны они поддерживали Франко, а после войны перестали из-за чрезмерной жестокости последнего. "Он казнил слишком много людей, — говорили они. — Потом, правда, казни прекратились, но первые два года было ужасно". "А сколько человек он тогда казнил? — поинтересовался я. — Тысяч, наверное, десять?.." Я был уверен, что преуменьшаю. Сразу после такой войны, такого ожесточения, таких эпизодов, как в Алькасаре или в романе Хэмингуэя. Оказалось, я сильно преувеличил. За эти годы было казнено человек триста-четыреста. И то, что у этих людей, "переживших фашистскую диктатуру палача Франко", сохранилась такая нормальная мера вещей (ведь триста-четыреста — цифра действительно гигантская), больше всего меня расположило к Франко. Раз такое количество жертв после такой войны и ожесточения ужаснуло этих разумных, культурных, интеллигентных людей, значит, ей-Богу, с Франко еще можно иметь дело. Все-таки это Вам не Агостиньо Нето и не Фидель Кастро.

И вспоминая этих милых испанцев, и их слова о жестокости Франко, и сообразуя их со своим общим ощущением Испании, страны небогатой в западном представлении (но не в представлении жителя Рязанской области), я опять прихожу к одному грустному, но необходимому выводу: везде, где таких романтиков, каким был я (и таких гуманистов, как Ваши единомышленники), разбили, жить еще можно. Везде, где они победили, жить невозможно даже им самим. Этим самым я вовсе не хочу сказать, что не надо гуманистов. Или не надо культуры. Просто человеческое общество — вещь сложная и хрупкая, и гуманистам в их любви к человечеству следует быть с ним осторожней.

Нет, я не идеализирую Франко. Любая диктатура хуже устойчивой

демократии. Но если демократии все же окажутся неустойчивы, то я бы предпочел такого диктатора, как Франко, таким, как Ленин, Сталин, Кастро или Гитлер. Я бы хотел, чтобы дело не дошло до такого выбора. К сожалению, это больше зависит от таких людей, как Вы, а не таких, как я. Поэтому я и пишу Вам это письмо.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Напечатана в журнале "Страна и мир", № 3 (1984).
2. Посвященную ей работу "Психология современного энтузиазма", опубликованную в русском и немецком изданиях "Континента", я написал еще в 1970 году. То есть уже тогда "элита" заявила о себе достаточно громко. А ведь мы еще и не думали об отъезде.

СВОБОДА МНЕНИЙ
И УВАЖЕНИЕ К ИСТИНЕ *

1

Дезинформация стала в наше время едва ли не самым могучим оружием дурной политики. Здесь, на Западе, она еще смягчается так называемой "свободой выбора информации". Правда, эта свобода часто сводится к выбору того, что отвечает заданным авторским представлениям и симпатиями — без анализа разноречивых сообщений. Зато за железным занавесом именно дезинформация держит в идеологическом плену целые народы и страны. Недаром же там так строго охраняется государственная монополия на все средства массовой коммуникации. В такие времена людям особенно нужна правда — во всех ее видах: от элементарной точности факта до сложнейшего смысла вещей.

Тем более удивительно, что в зарубежной русской периодике так часто и в таком количестве рассыпаны ошибки — как смысловые, так и элементарно-фактические, легко поддающиеся проверке и потому бесспорные. Почему, дорвавшись до свободы слова и свободы выбора информации, авторы так часто пользуются этими благами с удивительной беспечностью по отношению к истине? Это психологическая загадка, требующая объяснения.

Что касается фактических ошибок, их обилие отчасти объясняется тем, что издатель и редактор здесь не отвечают за авторский текст. Редактор не замечает, когда общеизвестные строчки из "Горя от ума" приписываются Пушкину (а потому пушкинские строки Грибоедову — для восстановления справедливости!). Не дело издателя исправлять авторские представления о русской истории, когда, например, возникновение династии Романовых относят ко временам до царя Бориса и на этом "убеждении" выстраивают текстологические гипотезы о "Борисе Годунове" Пушкина.

Однако безразличие редактора ничуть не объясняет безответственности самих пишущих. Это не педантизм. Речь идет не о случайных ошибках или неточностях, которые могут встретиться у любого, впол-

* Опубликовано в журнале "Страна и мир", 1984, № 7.

не серьезного автора. Ошибки памяти даже естественны, например, в мемуарах; культурный издатель обычно оговаривает их в примечаниях. Речь идет о "расширенном воспроизводстве" неточностей, которые свидетельствуют о сознательном или неосознанном неуважении к истине. Ошибок перестали стыдиться, их легко оправдывают, а нередко даже и отстаивают "право на ошибки" как одно из священных прав личности. На упрек в неуважении к истине чаще всего и почти рефлекторно отвечают пресловутым скептическим вопросом: "Что есть истина?" В эту минуту люди не помнят, из какого контекста извлечен этот вопрос. Конечно, никто не принимает евангельского Пилата за норму и образец человеческого поведения. Однако забывают, что этот роковой вопрос ведет к умыванию рук, а в конечном счете — и к предательству этой самой Истины (о чем так убедительно напомнил Михаил Булгаков в "Мастере и Маргарите").

Принципиальный скептицизм по отношению к истине свойственен авторам самых разных направлений, иногда друг другу непримиримо враждебных. Правда, источник вражды нередко лишь "пленной мысли раздраженье", ожесточение ущемленных амбиций или даже конкурентные страсти журнальной коммерции: в этих стычках разбираться не стоит, — не интересно. Но многолетний спор между плюралистами и так называемыми авторитаристами, хотя и засорен подобными же страстями, включает в себе и реальные идейные разногласия по многим важным вопросам (философским и этическим, политическим и художественным). Это могло бы сделать полемику общеинтересной и даже плодотворной, если бы... да, если бы не мешала, сверх всего прочего, еще и непроясненность самих понятий — "плюрализм" и "авторитаризм".

Беспечность по отношению к истине вызывается, по некоторым наблюдениям, разными мотивами у авторов того и другого "лагеря". "Авторитаристы" на словах признают ее общеобязательность, но жаждут монополии на истину и в этой жажде слишком часто аргументируют наугад, не считаясь с фактами. "Плюралисты" же выступают под флагом свободы личности и ее прав на персональное, для каждого особое в и д е н и е истины. С них и следует начинать, хотя бы потому, что они сами называют себя плюралистами, а "авторитаристами" обзывают оппонентов. Какое же содержание вкладывают в это самоопределение его сторонники? Вопрос не праздный, если учесть, что среди плюралистов есть убежденные атеисты и люди религиозные, много авангардистов, но также любители и знатоки художественной традиции; есть интернационалисты, "планетаристы", но есть и люди повышенной ранимости в национальном вопросе. Может показаться, что, кроме общего ожесточения против "авторитаристов", этих людей решительно ничего не связывает.

В журнальной периодике последних лет легко найти самые разно-

родные определения политического плюрализма: от простого отождествления его с многопартийной парламентской демократией до права на поиски разных путей и разных общественных форм, оптимально благоприятных для будущего России. Более того, недавно А. Каценелинбогейн в своей статье "Мысли о пользе монархии" объявил, что конституционная монархия английского или шведского типа является как раз наиболее "плюралистическим" государственным устройством, а потому и оптимальным для будущего России! ("Время и мы", № 73). Но существует немало плюралистов, которые не ограничивают это понятие областью политики, распространяя принцип плюрализма также на этику и гносеологию, на эстетику и художественное творчество. Чтобы распутать и классифицировать все определения плюрализма, предложенные самими плюралистами, понадобилось бы специальное исследование! Обозначенная в заголовке тема, к счастью, этого вовсе не требует. Здесь уместен анализ лишь тех суждений, которые имеют отношение к вопросу о свободе мнений и уважении к истине. Более того, ограничимся рассмотрением взглядов лишь одного, зато наиболее яркого и последовательного сторонника концепции плюрализма — Михайло Михайлова.

2.

Статья Михайлова "Достоевский против Канта" ("Континент" № 36, цитаты из этой работы в дальнейшем изложении специально не отмечаются) — отклик на подготовленное издательством "Серебряный век" переиздание небольшой книги Я. Э. Голосовкера "Достоевский и Кант". С некоторыми самыми общими положениями этой статьи можно соглашаться, с другими — спорить. Но сразустораживают фактические неточности и ошибки, которые сопровождают оценки и суждения автора. Приведем примеры. Академик Н. К. Гудзий в кратком предисловии к работе своего сверстника Голосовкера замечает, что "Критика чистого разума" цитируется в переводе Н. Лосского (по изд. 1915 года). По этому поводу Михайлов делает умозаключение: "Самоочевидно, что после этого издания Канта больше не печатали!" Но почему же это "самоочевидно"? Это вопрос, который легко поддается проверке. За полчаса в библиотеке можно установить, что некоторые работы Канта впервые были переведены и изданы порусски в 20-е годы; что "Пролегомены" в переводе В. С. Соловьева (заново сверенном Б. А. Фохтом с подлинником) выходили дважды: в 1934 и в 1937, а II-ой том сочинений Канта был издан в 1940. Наконец, можно узнать, что как раз в 1963 году началась публикация шеститомного издания Канта, но том с "Критикой чистого разума" тогда еще не вышел и нельзя было (как это требуется в советских издательствах) перевести все цитаты и ссылки на последнее издание.

Поэтому Гудзий и оговаривает, каким источником пользовался автор книги. Только и всего. Никаких скрытых намеков на малую доступность Канта предисловие не содержит.

Почему же в 1983 году Михайлов уклонился от простой проверки своего вольного предположения, превратив его в факт при помощи словечка "самоочевидно"? По-видимому, из уважения к своему свободному мнению, которое предшествовало и фактам, и умозаключению, определяя "выбор информации". Всё рассуждение о Канте в России открывается риторическим вопросом: "Да и кто в Советском Союзе может читать Канта?" Вот оно в чем дело! Современная Россия для М. Михайлова (как и для многих других русскоязычных авторов на Западе) — это темный лес, где живут медведи, намертво лишенные доступа ко всякому просвещению, тем более — философскому.

Ошибка эта — отнюдь не единственная и даже не главная в небольшой статье "Достоевский против Канта". Столь же упрощенное представление о культурной жизни за последнее полувековье сказалось в суждениях Михайлова о М. М. Бахтине и об его книге "Проблемы поэтики Достоевского" (1963). И здесь фактические ошибки непосредственно связаны со смысловыми. Начать с того, что Михайлов безоговорочно причисляет Бахтина к "структурализму, формализму", именно и только этим объясняя исключительный успех его книги о Достоевском во втором дополненном издании. По его мнению, она была событием лишь на фоне таких фальсификаторов, как Ермилов, и таких приспособленцев, как Гус и Кирпотин: "На фоне таких многочисленных "исследований" второе издание книги М. Бахтина "Проблемы поэтики Достоевского", появившейся в том же 1963 году, и его теория полифоничности романов Достоевского явилась, конечно, большим событием. После долголетнего обязательного марксистского подхода к художественным произведениям, структурализм и формализм не могли не казаться спасительной отдушиной. На Западе же книга Бахтина попала во времена повального увлечения структурализмом, формализмом в подходе к литературному тексту и логическим позитивизмом".

Взгляд на Бахтина как на сторонника или предшественника структурализма в литературоведении заимствован у самих же структуралистов. Для людей этого направления весьма лестно числить мыслителя такого масштаба в своих основоположниках; да к тому же всякое использование идей Бахтина замечательно украшает даже самые художественные структуральные схемы и подсчеты. Сам Михайлов заявляет себя не сторонником, а противником "структурализма, формализма" и даже считает эту школу некогда повальной, но уже отошедшей модой. Зачем же ему-то так слепо следовать за структуралистами в истолковании Бахтина?

С тех пор, как выяснилось, что книга "Формальный метод в литера-

туроведении”, вышедшая под именем П. Н. Медведева в 1928 году, на самом деле принадлежит Бахтину, а особенно после выхода двух сборников его работ (“Вопросы литературы и эстетики”, М., 1975; “Эстетика словесного творчества”, М., 1979), написанных в разные годы жизни, отношение исследователя к формализму и структурализму стало вопросом фактической осведомленности. Глубокая и ничуть не устаревшая по сей день критика формальной школы, начатая Бахтиным еще в 1924 году, и ясно выраженное несогласие его со структурализмом в литературоведении 60–70-х годов многократно высказано в этих книгах. Приведем лишь одно место из статьи, написанной в последний год жизни ученого, озаглавленной в рукописи “К философским основам гуманитарных наук” (в сборнике “Эстетика словесного творчества”, уже посмертном, составитель назвал статью “К методологии гуманитарных наук”, чтобы не настораживать цензуру): “Мое отношение к формализму: разное понимание спецификаторства; игнорирование содержания приводит к “материальной эстетике” (критика ее в статье 1924 года); не “делание”, а творчество (из материала получается только “изделие”)”. Это — о формальной школе. Не ясно ли, что взгляд на формализм у Бахтина не изменился с 20-х годов?

И дальше — уже о современных литературоведах: “Мое отношение к структурализму. Против замыкания в текст. Механические категории: “оппозиция”, “смена кодов” (многостильность “Евгения Онегина” в истолковании Лотмана и в моем истолковании). Последовательная формализация и деперсонализация: все отношения носят логический (в широком смысле слова) характер. Я же во всем слышу голоса и диалогические отношения между ними. Принцип дополнительности я также воспринимаю диалогически... В структурализме только один субъект — субъект самого исследователя. Вещи превращаются в п о н я т и я (разной степени абстракции); субъект никогда не может стать понятием (он сам говорит и отвечает). Смысл персоналистичен: в нем всегда есть вопрос, обращение и предвосхищение ответа, в нем всегда двое...” Это не готовый для публикации текст, а план-конспект работы, полное изложение которой Бахтин, очевидно, собирался, но не успел написать. Многое здесь, быть может, и не сразу понятно без разъяснения в контексте целостного мировоззрения Бахтина и его совершенно оригинальной и как раз сейчас особенно нужной людям нравственной философии и эстетики. Это требует специального изложения (и даже — специального исследования), что, разумеется, совершенно невыполнимо в рамках настоящей статьи. Одно понятно каждому даже из приведенных отрывков: Бахтин не считал себя ни сторонником формальной школы, с которой непримиримо полемизировал всю сознательную жизнь, ни сторонником современного структурализма, с которым готовился спорить, рассматривая этот предстоящий спор как прямое продолжение старой полемики с формалистами. Другое дело,

что и русская "формальная школа", и наиболее талантливые из структуралистов, с точки зрения Бахтина, заслуживают диалог а, чего нельзя сказать о фальсификаторах и приспособленцах.

3.

Тема статьи "Достоевский против Канта" не обязывала автора высказываться о Бахтине. Тем не менее, к Бахтину и его идее полифонического романа он возвращается еще раз, трактуя эту идею с таким поразительным непониманием, словно бы он не читал книгу Бахтина и 20 лет назад, когда — по собственному свидетельству — "готовил докторскую диссертацию по Достоевскому". "Можно сказать, что Голосовкер соглашается с тезисом Михаила Бахтина о "многоголосности" романов Достоевского, — пишет Михайлов. — Однако добавим от себя, что в этом смысле вся художественная литература "полифонична", а там, где герои литературного произведения выражают только мысли писателя, — просто нет художественной литературы".

Но идея полифонии в романах Достоевского развита Бахтиным вовсе не "в этом смысле"! Взгляда, что "герои литературного произведения выражают только мысли писателя", придерживался в 20-е годы разве что В. Переверзев с его наивной и одновременно хитроумной попыткой применить марксизм к литературоведению. Этот взгляд даже и официально был признан вульгарным социологизмом; от "переверзевщины" молниеносно отреклись ближайшие ученики и последователи Переверзева — задолго до его "посадки". Бахтин не связан со взглядами Переверзева даже полемикой, хотя, разумеется, знал его книгу о Достоевском, тогда широко известную: эти взгляды не заслуживали диалога.

По мысли Бахтина, полифонический роман — это художественное открытие Достоевского, отличающее его романы от трудов предшественников и современников, даже самых великих. Полифонический роман противопоставлен традиционному "монологическому роману" (например, толстовскому). Художественное достоинство романов Толстого ничуть при этом не ставится под сомнение. Идея полифонии (как нового типа художественного мышления) неразрывно связана у Бахтина не только с эстетикой, но и с нравственной философией. Именно в его нравственной философии, составляющей основу и источник "эстетики словесного творчества", заключена живая душа теории "диалогизма" и "полифонии".

Как всякая слишком новая и сложная мысль, идея "полифонического романа", воплотившего новый "тип художественного мышления", не была понята во всем объеме и значении ни в 1929, ни в 1963 годах, хотя во второе издание Бахтин внес существенные разъяснения именно этого новаторского значения полифонии для всего словесного

искусства в целом. Обдумывая, как полнее выявить связь поэтики и нравственных идей при переиздании книги о Достоевском, Бахтин в 1962 году так определяет главную заслугу романиста: "Художественное открытие человека-личности. Диалогическое отношение как единственная форма отношения к человеку-личности, сохраняющая его свободу и незавершенность. Критика всех внешних форм отношения и воздействия: от насилия до авторитета; художественное завершение как разновидность насилия. Недопустимость обсуждения внутренней личности (Снегирева с Лизой в "Карамазовых", Ипполита с Аглаей в "Идиоте"; ср. более грубые формы этого в "Волшебной горе" Манна с Шоша и Пеперкорном; психолог как шпион)". ("Эстетика словесного творчества", стр. 317).

Полифонизм у Бахтина неотделим от диалогизма и из него растет. Это — тоже плюрализм, но возможный лишь на очень высоком нравственном уровне взаимоотношений, когда "человек-личность" хочет и умеет хорошо слышать и отвечать друг другу. По Бахтину, без диалогического проникновения в мысль и личность другого, в сущность его идей — "человек-личность" не может даже и осознать себя, то есть не может стать личностью.

Как могло возникнуть не только неверное, но и несправедливое суждение о мыслителе такого масштаба, как М. Бахтин? Да еще не у случайного человека, а у профессионала, специалиста по Достоевскому? Похоже, что и тут сработало все то же предубеждение. По Михайлову, в России последнего полувека ничего крупного и значительного просто не могло проявиться, во всяком случае — в сфере гуманитарной мысли и словесного искусства. Все значительное, что создала "русская философская мысль", было создано либо в начале века, либо "между двумя мировыми войнами", но такими философами, как Н. Лосский, Н. Бердяев, Л. Шестов, В. Розанов, С. Булгаков, С. Франк и другие. Эту обойму имен Михайлов дает трижды на протяжении небольшой статьи, утверждая, что люди "русского религиозно-философского ренессанса" — это "мыслители наступающего времени", — завтрашний день в развитии сознания всего человечества. (Такие имена, как Вл. Соловьев и Н. Федоров, странным образом вообще не упоминаются в связи со значением "русской религиозной философии".)

Что же касается представителей словесного искусства и гуманитарной мысли внутри страны, то их словно бы и вовсе не было на свете. Михайлов готов признать некоторые заслуги лишь тех авторов самиздата и тамиздата, которые появились после Сталина (поскольку "в наше время многое изменилось уже и в Советском Союзе"). Но даже и эти авторы, очень скупо поименованные в статье, оказываются всего лишь чем-то вроде удобрения интеллектуальной почвы Запада, чтобы она смогла воспринять семена идей все тех же философов первой русской эмиграции: "Можно сказать, что Солженицын,

Надежда Мандельштам, Андрей Синявский, а теперь уже десятки и десятки других писателей подготовили почву для понимания и восприятия русской философской мысли и что их произведения — эмпирическое для нее доказательство” (Разрядка моя — А. Т.). Только и всего! И перечисленные авторы, и опущенные им не более чем “эмпирическое доказательство” философских идей, высказанных на четверть века ранее, но зато — в эмиграции. О книгах, не только написанных, но и опубликованных в пореволюционной России, очевидно, и говорить не стоит. Да стоит ли и читать их? Они ведь и на удобрение — ... то бишь на подготовку почвы в сознании просвещенного Запада — не могут пригодиться. В эту категорию и попали, по-видимому, книги Бахтина.

4.

К сожалению, не один Михайлов с таким великолепным пренебрежением относится ко всему созданному русской гуманитарной культурой, если это книги, опубликованные в СССР. Но Михайлов выгодно отличается от других тем, что обосновывает такой взгляд еще и идеологически, выдвигая свою концепцию “планетарного сознания” — вненационального и даже антинационального. Об объявляет не только русское, но всякое национальное чувство и национальное самосознание (а уж тем более всякое стремление к “национальному возрождению”) — самым губительным и реакционным делом, — много хуже политики всех реально существующих тоталитарных режимов. В своих публицистических выступлениях он расширяет и возводит в степень “антинациональную идею”, так что она получает религиозное и философское, политическое и даже автобиографическое обоснование, разрастаясь до размеров целостного мировоззрения.

Однако способы такого обоснования далеко не всегда убедительны, потому что ради стройности концепции М. Михайлову часто приходится выворачивать суставы терминам и понятиям. Ничуть не считаясь ни с этимологией, ни с семантикой слов, он дает собственные определения или истолкования понятий, настолько широко употребительных, что их обычные значения приводятся в толковых словарях. Например, в статье “Возвращение Великого инквизитора” (“Континент” № 28) Михайлов опровергает критерии национальной принадлежности, предложенные Солженицыным: “И даже национальная принадлежность, по Солженицыну, определяется “не одним происхождением... но душою, но направлением преданности”. Это представляется Михайлову столь одиозным, что вызывает только насмешки. Между тем, что тут одиозного? Солженицын попросту отделяет свое понимание дела от расистского, которое руководствуется “одним происхождением” (“этническим типом”, “чистотой расы”, составом крови и пр. в том же роде),

возводя в число критериев национальной принадлежности также и субъективные факторы: душевный склад, "направление преданности". Последнее — вовсе не "и д е о л о г и ч е с к а я" преданность (как трактует Михайлов), а самая органическая: преимущественная заинтересованность в национальных судьбах, привязанность к родной земле, озабоченность положением и будущим родного народа, да просто — любовь к нему, к его языку и культуре, к душевному складу и формам общения. В приведенных словах Солженицына нет и тени национальной исключительности или вражды к другим народам; всего лишь признается право личности также и на национальное самоопределение, независимо от антропологических, генеалогических и любых других "объективных" критериев, которыми руководствуются при паспортизации тоталитарные режимы. Почему же такой яростный борец за права "каждой отдельной человеческой личности" отказывает ей в праве на национальное самоопределение?

Нет решительно никаких оснований подозревать Михайлова в расизме. По-видимому, понятие нация он отождествляет с этнической или племенной общностью. Следовало бы при этом, во-первых, чем-то отгородиться от расистских критериев — после Третьего Рейха это стало этической необходимостью; и во-вторых, "посчитаться" с другими, не менее распространенными истолкованиями этого понятия. Кроме "этнического", существуют "юридические" и "географические" критерии национальной принадлежности: по гражданству или по месту рождения. Существует и исторический подход к понятию "нация", а значит, и к вопросу о критериях национальной принадлежности. Согласно этому взгляду, современные нации складывались веками из нескольких племен и многих этнических элементов. Как территориальное и государственное единство, связанное общностью языка и культуры, они сформировались сравнительно поздно, а некоторые формируются еще и сейчас. Современные нации и теперь сохраняют способность адаптировать, органически вовлекать в себя целые племенные группы и отдельных людей самого различного происхождения и этнического типа. Судя по критериям национальной принадлежности, такого понимания дела придерживается и Солженицын. Этот взгляд, в случае несогласия с ним, несомненно, заслуживает возражений по существу. Как же полемизирует М. Михайлов? Сначала он "выводит" из солженицынского критерия национальной принадлежности явную глупость, из него отнюдь не вытекающую, а затем над этой глупостью насмехается: "Нетрудно себе представить, какое огромное число русских людей, то есть все, не разделяющие взгляды Александра Исаевича, включая Сахарова и Бердяева, а не только Брежнева, оказались бы исключенными из русского народа. Как это ни прискорбно, но все же и Леонид Ильич Брежнев по национальности — русский" ("Континент" № 28). Свидетельствует ли это об уважении к истине? Или хотя бы о

терпимости к чужому мнению, казалось бы столь обязательной для плюралиста?

Между тем, именно “каждая отдельная человеческая личность” с ее правами, суверенностью и свободой — это главный, основополагающий принцип всех рассуждений Михайлова. Это все, что он противопоставляет таким, на его взгляд, вредным и опасным силам, как нация, государство, класс, церковь — всем исторически сложившимся формам человеческой общности. Такое противопоставление присутствует почти во всех определениях, на которые он так щедр: “Родина человека — это свобода, а не географическая, государственная или национальная принадлежность” (“Планетарное сознание”, 1982, стр. 127). Нужно совсем не слышать корневой основы слов (“родина” — “род” — “родиться”), чтобы выдавать подобные сентенции.

И что понимает Михайлов под “свободой личности”, противопоставленной всем ее человеческим связям? Только ли свободу слова и печати, свободу выбора информации и места жительства, свободу собраний и союзов, то есть совокупность гражданских свобод, охраняемых демократическим государством? Или это свобода самоутверждения и проявления всего, что окажется в составе индивида со всеми его “хотениями и почесываниями”, как выражается один из персонажей Достоевского? Сначала речь шла как будто о чем-то третьем: о духовной свободе в терминах русской религиозной философии. Это свобода, к которой личность пробивается, преодолевая собственное несовершенство и давление обстоятельств: “...Победить зло красотой моей любви и строгого образа воздержания и управления собою”, — писал об этом еще Достоевский. Но выступления Михайлова-плюралиста в последние годы провозглашают решительно ничем не ограниченную свободу личности как предварительное условие ее духовной свободы. Какое же тут “строгое воздержание и управление собою”. Идея самоограничения личности или народа признается величайшим злом, а “общемировая, интернациональная борьба в защиту прав человека” (в духе Картера в начале его президентства) — панацеей от всех зол. Слов нет, защита гражданских, политических прав человека — прекрасная вещь, особенно если она не сводится к словесному шуму, а дает живые результаты! Но ведь эти юридические права никак не тождественны ни духовной, ни творческой свободе и отнюдь ее не обеспечивают. Стоит ли смешивать эти вещи?

По некоторым признакам Михайлов требует свободы личности именно со всеми ее “хотениями и почесываниями”, со всеми аппетитами и комплексами: “Ну, к примеру, Солженицын преклоняется перед идеей вечной России, а другой кто-нибудь предпочитает копченую колбасу. В демократическом обществе это нормальное явление, не вызывающее никаких трений по той причине, что свобода отдельного человека является краеугольным камнем демократии”. (“Планетарное сознание”,

1982, стр. 118). Оба эти “направления преданности” объявляются равноправными и равноценными стимулами поведения: иначе — какой смысл в таком противопоставлении? Разве что — в желании принизить и оскорбить национальное чувство? Да и тезис, будто предпочтение колбасы национальным интересам “никаких трений” вызвать не может, попросту неверен.

5.

Америка для Михайлова — высший образец демократии. Но по каким признакам? “Именно в Америке не было ни традиций, ни государства, ни авторитарного воспитания, ни примера, которому надо бы следовать, а была лишь неограниченная свобода и безграничные просторы... и вот именно это отсутствие чего-либо ограничивающего суверенитет личности, кроме воли Божьей, — и создало то блестящее развитие страны, по отношению к которой не только Россия, но и вся Европа кажется убогим захолустьем” (“Синтаксис” № 11. “Безответственность и недомыслие”). Дальше — пуще: по Михайлову, никто и никогда в истории Соединенных Штатов “не вел к демократии, не обучал демократии, а просто свободные одиночки с оружием в руках, не признавая никакой суверенной власти над собою, ...отстаивали свою свободу” (Там же).

Но, помилуйте, это — вовсе не характеристика демократии, хотя бы и американской, а прямое изложение принципа анархизма. Анархизм постоянно и повсюду угрожает здоровой демократии, ослабляя ее, расшатывая законность, усиливая произвол наиболее агрессивных “свободных одиночек”. И Америка не составляет исключения. Во времена, когда государственная власть и авторитет закона были недостаточно сильны, “свободные одиночки с оружием в руках” действительно отстаивали свою свободу по собственному произволу. При этом они довольно успешно вытесняли и притесняли хуже вооруженное коренное население континента — североамериканских индейцев. “С оружием в руках” (а также с некоторыми другими орудиями насилия) они поддерживали рабство негров. Когда же позднее победила действительно демократическая государственность (кстати, — б ы л и тогда люди, которые “вели к демократии”; за то они и стали национальными героями Америки), то ей долго еще сопротивлялись, осуществляя суды Линча и составляя для этого целые компании “вооруженных одиночек”.

За свободную самодеятельность этих ребят, не жалавших знать ни

юридических ограничений своей "свободы", ни морального самоограничения, до сих пор расплачивается американское — действительно, самое демократическое в мире — общество и государство: до конца не изжитой расовой рознью; трудной работой по преодолению сегрегации; повышенным вниманием к соблюдению закона о гражданских правах, когда дело касается расового меньшинства. Расовые и национальные унижения не забываются в ряде поколений! Америка — самая последовательная демократия в мире, в частности, как раз потому, что требует безоговорочного уважения к расовому достоинству своих граждан, к их национальному чувству и сознанию, пока они не только юридически, но и по самочувствию не станут просто американцами.

Свобода личности, понятая как отказ от всех и всяческих форм ограничения и самоограничения, слишком легко оборачивается своеволием и произволом: "свободой" одичалых страстей, низменных appetitов, агрессивных амбиций. Между тем, Михайлов сводит сущность и основу демократии к "суверенитету личности над обществом, государством, нацией": "Демократия и есть такой строй, в котором основой основ является суверенная личность" ("Синтаксис" № 11, "Безответственность и недомыслие"). Однако по прямому смыслу слова "демократия" — это "власть народа", "народовластие". Это — форма правления, государственный порядок. И именно такой порядок, который обеспечивает преобладание интересов человеческой общности, заключенной в понятие "народ", над любыми претензиями отдельных личностей на своеволие за счет других. Требовать, чтобы свобода "каждой отдельной личности" ставилась юридически и морально выше интересов демократического государства, его суверенитета и свободы, — это значит призывать демократию к самоуничтожению.

Предложенная Михайловым под псевдонимом "плюралистической демократии" идея полного безвластия, "освобождения" от всякой государственности и законности — это не более чем анархическая утопия, которая вполне отвечает духу и идеалам кабинетного российского анархиста. (Анархизм не кабинетный немедленно выдвигал "батьков" и "атаманов", весьма деспотичных). "Анархия — мать порядка"; князь Кропоткин предерживался чисто просветительского представления, будто беспредельная свобода автоматически приведет каждого участника анархической вольницы к отказу от зла. К тому же, естественно, приходит и Михайлов, с поправкой на "обстоятельства", жестокая власть которых столь очевидна в наш жестокий век: "Вот это доверие, что люди свободные не будут делать зло, а только в обстоятельствах, когда они к этому принуждены — это, по-моему, является основой всякой демократии и всякого плюрализма" ("Мир свободы и плюрализм". "22" № 30). Но где же критерий "принуждающей" к злу силы обстоятельств? Михайлов не замечает, что его оговорка об

обстоятельствах, принуждающих к злу, уничтожает исходный тезис о свободе, автоматически рождающей победу добра.

И опять-таки: о какой свободе идет речь? Духовной свободы, предварительным условием которой является не преодоление, а внешнее устранение всех "принуждающих" к злу обстоятельств, на свете не бывает: она всегда — результат внутренних усилий, духовного развития личности, в о п р е к и давлению обстоятельств. Если же здесь имелась в виду свобода чисто юридическая, закреплённая законами и охраняемая демократическим государством, то она совершенно не обеспечивает отказа "каждой отдельной личностей" от зла; это известно, в частности, из опыта США.

6.

Определений и характеристик плюрализма у Михайлова множество, как положительных — через тождество, так и отрицательных — через противопоставление: "Я пришел к такому выводу: свобода и есть плюрализм! Это синонимы. И никакой свободы нет там, где есть единомыслие, совершенно все равно какое: христианское, исламское или какое хотите" ("Мир свободы и плюрализм", "22" № 30). И еще одно отрицательное определение: плюрализм существует только там, где есть свобода для личности, а не для народа, класса и т. д." (Там же). Как же, однако, обеспечить свободу личности, отказав в свободе народу и обществу, нации и общественным классам? И для чего им отказывать в свободе? Чтобы вдруг не случилось единомыслия по какому-нибудь жизненному вопросу?

Распространяя принцип плюрализма вширь и вглубь, Михайлов захватывает также высшие сферы идеологии, религии и пр. Здесь тоже над поисками идей, способных объединять людей, торжествует бесконечное разделение.

"В пределе плюрализм охватывает, конечно, практически всех людей, потому что нет в мире двух людей, которые одинаково бы думали и чувствовали... И поэтому плюрализм — это: сколько людей, столько и идеологий, сколько людей, столько, если хотите, и политических положений. И вот такой плюрализм для меня является высшей ценностью" ("Мир свободы и плюрализм", "22" № 30). (Выделено мной — А. Т.) Вот и приехали: сколько голов, столько и умов; сколько умов — столько свободных мнений и "политических положений", идеологий и истин. Иначе говоря, "новейший" плюрализм оборачивается на наших глазах старинным философским релятивизмом!

С самим понятием "истины" у Михайлова довольно сложные отношения. С одной стороны, мы узнаем, что "истина не может быть найдена голосованием, однако нигде никто никогда и не ищет истину голо-

сованием. Голосованием определяются цели и методы демократического общества, что, конечно, не имеет ничего общего с поисками истины. И нет ничего хуже и опаснее, чем связывать политическую и государственную жизнь с вопросом об истине" ("Планетарное сознание", стр. 119). Здесь слово "истина" пишется с маленькой буквы, потому что имеется в виду, так сказать, неистинная истина — все равно, идет ли речь об "единственно истинном марксистском мировоззрении" или о "вечных, непреходящих истинах православной церкви". Но в мировоззрении Михайлова все же находится место и для Истины с большой буквы: "Совершенно верно, что истина только одна, однако у каждого с в о й путь к ней. Когда какой-либо авторитет (хуже всего, если — христианский, церковный) отбирает у людей возможность своим путем искать и находить Истину и даже заблуждаться, — тогда Истину можно найти исключительно в сопротивлении этому авторитету" ("Синтаксис", № 11). Как видим, с большой буквы Истина пишется, лишь когда она — протест личности против какого бы то ни было "единомыслия" между людьми. Что касается тревоги за "возможность" заблуждений, которую кто-то хочет отобрать у личности, то это тревога совсем уж напрасная: чего-чего, а возможности заблуждений никому не удавалось "отобрать" у человека, да и у человечества! Заблуждения энергично насаждают, распространяют и консервируют, в частности, путем дезинформации. Есть люди, пытающиеся противостоять заблуждениям: распространять правдивую информацию, воспитывать в духе культуры и уважения к ней, пробуждать жажду истины и обучать грамоте интеллектуального труда и т. д. Тут обращение к традициям, и даже к авторитетам, нередко помогает. Однако результаты этого просветительства тонут в морях человеческих заблуждений и невежества.

Сама по себе потребность выстроить цельное мировоззрение, свойственная Михайлову, для меня лично даже привлекательна. Бердяев справедливо отмечал, что потребность в цельном мировоззрении и способность увлекаться идеями — это типовой признак российского интеллигента, по которому "можно даже определять принадлежность к интеллигенции": "Многие замечательные ученые-специалисты, как например, Лобачевский или Менделеев, не могут быть в точном смысле причислены к интеллигенции, как и, наоборот, многие, ничем не ознаменовавшие себя в интеллектуальном труде, к интеллигенции принадлежат" ("Русская Идея", 1971, стр. 33). Среди пишущей российской эмиграции все больше появляется людей, которые вполне удовлетворяются профессионализмом и легко обходятся без цельного мировоззрения: из российских интеллигентов они стремительно превращаются в западных интеллектуалов. Но тот же Бердяев отмечал и другую, не менее важную особенность русской интеллигентской традиции: способность ощущать себя общественной совестью, ответственной перед своим народом. Отвергая обязательства "свободной личности" перед на-

родом (или какой бы то ни было человеческой общностью), Михайлов по существу отрекается от этой традиции.

7.

Логическая стройность и последовательность "планетарного сознания" Михайлова достигается крайней отвлеченностью понятий, которыми он оперирует. Это какие-то понятия-оборотни, понятия-личины. Что означает у него понятие "личности"? Это любая человеческая особь, каждый житель планеты? Или имеются в виду только люди, осознавшие себя личностями? Или имеется в виду лишь, по слову Достоевского, "сильно развитая личность", которая причастна к высшим ценностям духовной жизни, наделена собственной внутренней биографией? То же и с понятием "свобода". Тут смешиваются и взаимозаменяются: свободы политические, тождественные правам человека в юридическом смысле; духовная свобода; своеволие "вооруженных одиночек", не признающих никаких авторитетов и ограничений или самоограничений. Из таких понятий-оборотней выстраиваются цепочки тождеств: демократия-свобода, личности-плюрализм и т. д., а в перспективе — не знающее зла "плюралистическое планетарное человечество".

Этому положительному полюсу противопоставлена другая цепочка понятий, воплощающих отрицательный полюс: нация, государство, народ, историческая церковь, а также "единомыслие", "авторитет" и пр., что в перспективе должно привести к национально-религиозному тоталитаризму. В "Планетарном сознании" это противопоставление понятийных цепочек — антиномия совершенно неподвижная, а потому еще более абстрактная, чем понятия, послужившие ей строительным материалом. К текущему дню реальной истории эта схема решительно неприменима. Между тем она претендует на применение, выдвигаются политические требования именно к демократическим режимам, — например, требование дальнейшего безграничного расширения прав личности за счет общества и государства; или требование отказаться от национальных интересов во внешней политике и т. д.

Спору нет, развитие человечества идет ко всемирной общности судеб, к необратимой взаимной зависимости всех стран и народов: в экономике и движении научной мысли, в средствах коммуникации и направлении демографических процессов. Это так хотя бы уже потому, что разрушение среды обитания и угроза атомной катастрофы — опасности глобального порядка. Необходимость преодоления расовой и национальной, религиозной и государственной вражды, всемирное единение человечества — задача назревшая и общепризнанная. Вопрос в том, что может этому способствовать, а что лишь углубляет разделение и рознь. Вся концепция "планетарного сознания" и строится во имя "планетарного плюралистического человечества". Однако, если

это даже не очередная, лишь слегка подновленная утопия, то разрушение всех исторически выработанных связей, всех способов духовного объединения людей ведет к противоположному результату: к разъединению и распаду как личности, так и человеческого сообщества. Поэтому "Планетарное сознание" не ведет к единению "планетарного человечества". В частности и потому, что отвергает национальное сознание и чувство, которое для подавляющего большинства сегодняшнего человечества является не только идеей, но органическим душевным свойством. Умение любить свой народ и страну, свой язык и культуру, природу и историю, способность принимать близко к сердцу судьбу национального целого — это не препятствие, а необходимая стадия, естественная ступень к тому всечеловеческому единству, когда и д е я любви к человечеству станет столь же органической сердечной заинтересованностью, оправданной чувством и душевной преданностью, как нынче национальное чувство. Путь к этому лежит только через уважение к национальному достоинству, через братские отношения к другим народам.

Разумеется, это ничуть не оправдывает сторонников и носителей национальной розни. Идеи и страсти, основанные на утверждении национального превосходства или национальной исключительности, расизма или антисемитизма, конечно, особенно опасны в наше время. Но вовсе не потому, что "в с я к и й национализм, всякое сообщество, построенное на началах националистических, не может не быть антисемитским" ("Планетарное сознание", стр. 111). (Разрядка моя — А. Т.) Кстати сказать, поскольку Израиль — это "общество, построенное на началах националистических", современная "антисионистская" и "антиизраильская" (а на самом деле — антисемитская) пропаганда в Советском Союзе ведется по той же логике: сионисты приравниваются к немецким "наци", а Израиль — к Третьему Рейху. По существу следовало бы носителей национальной вражды называть "шовинистами" — в соответствии с "банальным" словарным определением. Само слово "национализм" в восприятии советских людей скомпрометировано пропагандным словоупотреблением, приравнивающим его к шовинизму (например, клише: "Против великодержавного шовинизма и буржуазного национализма"). Тем не менее, в словаре Ушакова дано более точное соотношение этих понятий: "Шовинизм — крайний национализм, проповедующий ненависть, презрение к другим народам и разжигающий национальную вражду".

Национальное сознание бывает различным до противоположности как по идейному, так, в особенности, по эмоциональному содержанию, а поэтому и по общественной роли. Распространенность "смешанных" его вариантов не должна вести к смешению национального сознания как "направления преданности" с национальной агрессивностью, ксенофобией и расизмом.

Я не вижу, что может быть общей почвой для умственной жизни и духовного выживания русской эмиграции, обреченной на общую судьбу — на существование в биографически безнадежной диаспоре, кроме озабоченности дальнейшей судьбой России и ее культуры. Нас может связывать — даже в спорах — потребность прислушиваться к пульсу русской жизни и служить ей неподцензурным словом: неотступная память о том, что мы — для нее, а не сами для себя, для самообслуживания эмигрантских общин. Можно ли сказать, что для этого существуют и непрерывно плодятся газеты и еженедельники местного значения, если они озабочены больше всего тем, чтобы помочь своим читателям побыстрее стать неотличимыми в новой “среде обитания”.

Конечно, не всякий плюрализм принципиально отрекается от национальных интересов и национального чувства. Здесь тоже существуют разные тенденции и возможности. Решительные возражения вызывает лишь тот “плюрализм без берегов”, который почитает национальное чувство злостным пережитком, а в области гносеологии и этики сливается с релятивизмом — с отказом от поисков общезначимой истины и от всякой иерархии ценностей, объединяющей людей. Но возможен ли плюрализм, который не толкает на разъединение и раздоры, не рвет связующих идейных и общественных нитей? Не только возможен, но и существует, в политике, например. Это плюрализм, который не приемлет однопартийной системы с неизбежными ее спутниками: драконовской цензурой, претензией на монополию в области идеологии, диктатом в науке и культуре.

Что касается сферы философии, этики, эстетики и т. д., то и здесь уже существует плюрализм, который способен сближать и связывать людей самых различных взглядов. Его можно было бы назвать “плюрализмом взаимопонимания”. Это снова возвращает нас к Бахтину, к его идеям диалогизма и полифонии, которые уже им самим развиты не только в “эстетике словесного творчества”, но и в области нравственной философии. Бахтин писал: “Узкое понимание диалогизма как спора, полемики, пародии. Это внешне наиболее очевидные, но грубые формы диалогизма. Доверие к чужому слову, благоговейное приятие (авторитетное слово), ученичество, поиски и вынуждение глубинного смысла, с о г л а с и е, его бесконечные градации и оттенки (но не логические ограничения и не чисто предметные оговорки), наслаивание смысла на смысл, голоса на голос, усиление путем слияния (но не отождествления), сочетание многих голосов (коридор голосов), дополняющее понимание, выход за пределы понимаемого и т. п. Эти особые отношения нельзя свести ни к чисто логическим, ни к чисто предметным. Здесь встречаются ц е л о с т н ы е позиции, целостные личности” (“Эстетика словесного творчества”, стр. 300).

Но даже и споры бывают разные. Бахтин устанавливает целую иерархию различных типов спора — в зависимости от их нравственного уровня. Эта типология споров настолько важна для разъяснения "плюрализма взаимопонимания", что ее стоит привести, следуя от низших форм к высшим: "В риторике есть безусловно правые и безусловно виноватые, есть полная победа и уничтожение противника. В диалоге уничтожение противника уничтожает самую диалогическую сферу жизни слова... Сфера эта очень хрупкая и легко разрушимая" ("Эстетика словесного творчества", стр. 356). В споре на "уничтожение противника" взаимодействие сознаний не является его сущностью: это вообще еще не диалог. Но существует и высокая риторика, совместимая с диалогом: "Риторический спор — спор, где важно одержать победу над противником, а не приблизиться к истине. Это низшая форма риторики. В более высоких формах добиваются решения вопроса, могущего иметь временное историческое решение, но не последних вопросов (где риторика невозможна)" ("Эстетика словесного творчества", стр. 357). (Разрядка моя — А. Т.)

Диалог по "последним вопросам", связанным со смертью и бессмертием, со смыслом человеческой жизни и иерархией нравственных ценностей, — это высшая форма диалога, доступная на том уровне развития духовной жизни, которую Бахтин только и считает личным уровнем. Этот "незавершенный полифонический диалог" заключает в себе взаимодействие не только интеллектуальное, но захватывает всего человека. В результате этого диалога часто меняются внутренние судьбы личности, даже если единомыслия при этом спорящие вовсе и не достигли. Полифонический диалог незавершен потому, что принципиально незавершимы внутренние судьбы личности, по крайней мере пока человек еще жив. Но этот личностный уровень внутренней жизни и диалогического общения не дан человеку, а только задан. Он вырывается в себя, как в биографическом, так и в историческом смысле. Зато плюрализм "миров сознания" на уровне человека-личности безграничен: они никогда не совпадают полностью, хотя обогащаются, расширяют кругозоры, находят свои внутренние пути только в диалоге-взаимодействии с другими "мирами сознания". Для наших споров о судьбах страны и мира такой диалогизм необходим лишь как ориентир и перспектива, как напоминание об иерархии ценностей.

Все наши споры идут по вопросам, разрешимым в пределах исторического времени, и потому плодотворны лишь при условии, что ведутся они ради приближения к истине. Здесь недостаточно даже простой терпимости по отношению к чужому взгляду (которой тоже нам всем так недостает). Нужно еще желание понять противника, а порою и усомниться "в несравненной своей правоте". Пожалуй, одной верности уровню "высокой риторики" (стремлению приблизиться к истине,

принятому как общая цель спора) мало в нашем эмигрантском положении. У нас есть моральные обязательства не только друг перед другом, но и перед страной, которую покинули, перед народом, к которому себя, тем не менее, причисляем, перед людьми, оставленными там...

Этической необходимостью для каждого, пишущего здесь, является всемерная поддержка всего сколько-нибудь ценного, что удастся создать и опубликовать там, несмотря на неизмеримо более тяжкие условия. Да, несмотря на цензуру и самоцензуру, на дезинформацию, на опасность поплатиться даже не "за политику", а за любую творческую, интеллектуально независимую работу, в России чудом сохранена высокая культура гуманитарной мысли и словесного творчества, издательского дела, архивных и текстологических изысканий, — рядом с горами халтуры и складами свеженапечатанной макулатуры. Это — факт бесспорный, хотя и не общепризнанный. Между тем, пренебрежение ко всему, что опубликовано в России, третирование подцензурной литературы как "официальной" распространяется, словно эпидемия, среди авторов всех трех эмиграций.

Третья эмиграция грешна более других, поскольку здесь ощутима утрата не только исторической, но и биографической памяти. Каждый третий "избравший свободу" журналист считает себя лишь на этом основании большим пушкинистом, чем все советские пушкинисты, лучшим знатоком русского языка, чем все советские языковеды (искусствоведы, литературоведы) и пр. Такие авторы позволяют себе ругать кого угодно, не разбирая ни научных заслуг, ни литературной судьбы и действительной ценности работ попавшегося под руку "подцензурного автора". Кажется, ни одна национальная эмиграция не проявляет "антиностальгии" в такой болезненной форме. У так называемых авторитаристов все это встречается ничуть не реже, чем у плюралистов. Но способ идейного обоснования такого неуважения к истине и такого высокомерного отношения к тяжелому и опасному труду людей русской культуры на родине у них существенно иной. Это, однако, тема отдельной статьи.

ЗООТЕХНИК БАРБУ*

Эмиграция порой влечет за собой разнообразные сюрпризы. В условиях преемственной политической и культурной жизни можно почти всегда проследить за любой политической и интеллектуальной биографией, ибо имеется много свидетелей каждого жизненного пути, почти всегда можно проверить то, что кто-либо писал или говорил.

Михаил Меньшиков, ставший из толстовца русским националистом и крайним антисемитом, равно как и Лев Тихомиров, превратившийся из народника в яростного монархиста, менее всего нуждались в том, чтобы скрывать свое прошлое. Точно также бывшие марксисты Сергей Булгаков или Николай Бердяев не утверждали, что они всегда были религиозными философами.

Все эти люди столь разных судеб и взглядов в разные периоды своей жизни каждый по своему критически рассматривали свою жизнь, ибо все они пережили какой-то внутренний перелом, помогший им изменить свои взгляды и стать не тем, кем они были вначале.

Третья эмиграция из СССР неожиданно перевернула все привычные представления. Некоторые новые эмигранты, попадая на Запад (в том числе и в Израиль), стали выдавать себя не за того, кем они были прежде, приписывая себе биографии, которыми не обладали, объявляя себя вечными защитниками взглядов, которые они раньше никогда не разделяли. Это стало возможным от того, что нормальная связь между двумя мирами нарушилась и те люди, перед которыми новые эмигранты должны были представлять себя заново, не в состоянии были проверить их прошлое. На этой почве произошли самые удивительные метаморфозы, которые никогда ни в одном из нормально существующих преемственных обществ не были бы возможны.

Я могу не соглашаться со взглядами Анатолия Левитина-Краснова, Леонида Плюща, Бориса Шрагина или Павла Литвинова, но эти люди всегда говорили одно и то же и в России, и на Западе, и их позиция,

* В сокращенном виде статья впервые была опубликована в "Новом журнале" за 1979 г.

с моей точки зрения, может быть, является неверной, но зато последовательной и честной.

Я с полным уважением отношусь к позиции Некрича, отказавшегося в Риме заявить в американской анкете о вступлении в партию якобы по принуждению, ибо ему пришлось, как и многим другим, проделать большой жизненный путь, чтобы отойти от когда-то честно исповедывавшегося им коммунизма. (Я сам до 1958 года был искренним комсомольцем и не считаю нужным это скрывать.)

Но вот перед нами другой случай, случай прямо противоположный. Речь идет о бывшем советском критике и профессиональном партийном журналисте Александре Янове, эмигрировавшем в конце 1974 года из Москвы в США и сделавшем свой прибыльный специальностью на Западе защиту так называемых "здоровых сил" в советском руководстве под лживым прикрытием борьбы с правой оппозицией.

ИДЕОЛОГ РУССКОГО НАЦИОНАЛИЗМА

Как нетрудно убедиться, Александр Янов, выполнявший в СССР различные роли, в течение некоторого времени сам был одним из ведущих идеологов русского национализма (или вернее пытался им стать). В 1969 году, когда на сцену впервые ощутимо выступила группа неославянофильских писателей и критиков, когда казалось, что вот-вот контроль над культурной жизнью полностью перейдет к ним, Янов опубликовал на страницах журнала "Вопросы литературы" (№ 5, 1969 г.) статью "Загадка славянофильской критики". Эта статья открыла дискуссию о славянофильстве, длившуюся до конца 1969 года.

Тот, кто знаком с советской общественной жизнью, понимает, что статья, открывшая дискуссию столь серьезную в политическом отношении, не могла быть случайной и не могла быть поручена случайному автору. Несомненно, что Янов писал свою статью и открывал дискуссию по столь важному вопросу, будучи на это уполномочен. Советские дискуссии на важные идеологические темы иначе не делаются. Кем — нам предстоит решить ниже.

Янов потребовал реабилитации славянофильства. Вот, что он писал: "Именно настаивая на первоизданной чистоте 'народа' как хранителя национального предания, именно протестуя против 'публики' как чужеродного в национальном организме тела, пришли они /славянофилы/ к основополагающей мысли о необходимости выработки национального самосознания как обязательного этапа общественного самосознания, как первичной формы его. Вот почему, мне кажется, в этом мучительно медленном и противоречивом движении общественного сознания, каждый шаг которого завоевывался в жестокой борьбе, славянофилы тоже исполняли какую-то свою объективно необходимую функцию" (стр. 99).

Янов горько сетовал на то, что славянофилов считали "исключительно маховыми крепостниками, ретроgrадами и охранителями", и порицал за это советских критиков. Правда, признает он, у славянофилов можно найти разные отрицательные высказывания, но "тем ценнее, весомее и объективнее их позитивная функция". Проблема славянофильства, по Янову, большая и сложная, и ее немислимо решить "посредством простого осуждения славянофилов без суда и следствия".

Даже у Белинского, страстного врага славянофилов, пылливый Янов находит добрые слова об этом течении, патетически восклицая: "Как это, в самом деле, мог настолько утратить бдительность неистовый Виссарион!"

Он призывает, например, читателя понять "социальность и демократизм следующего высказывания Ивана Аксакова: "Было время, когда русские верхние классы... обольщенные соблазном западной цивилизации, исполнившись духа самоотверженного подобострастия ко всему чужеземному, спешили отречься от своей народности... не имея возможности тотчас переродиться, они торопились перерядиться. Ложь чужой национальности, перенесенной в русскую жизнь, щеголяла открыто... в напудренном парике..."

Янов вводит различие между охранительной и консервативной идеологией, утверждая, что славянофилы были консерваторами, а не охранителями, и поэтому оказались в оппозиции к режиму. Стало быть, нет "никакого смысла объявлять славянофильство разновидностью крепостнической идеологии", а "славянофильство было борцом против... политического идолопоклонства, борцом за секуляризацию власти".

Я не вступаю здесь в полемику с Яновым относительно роли и смысла славянофильства, я просто хочу показать, что он в свое время говорил. Поэтому я не считаю возможным скрыть и важную фразу Янова о том, что "последыши славянофильства пришли в ряды 'черной сотни'." Он делает следующий вывод, а именно, что "разгадка заключается вовсе не в крепостничестве славянофилов, а, напротив, в их извращенном демократизме, в их религиозном поклонении "простому народу", в их утопической модели действительности" (стр. 116).

На основании самой статьи Янова еще трудно сделать вывод о его истинной позиции. Это становится ясным лишь из расстановки сил дискуссии.

Знаменательно, что наиболее решительно и безоговорочно Янова поддержал Анатолий Иванов ("Вопросы литературы", № 7, 1969), в статье "Отрицательное достоинство". Этот Анатолий Иванов не редактор журнала "Молодая гвардия". В сведениях об авторах в журнале "Вопросы литературы" об Иванове говорится как о "специалисте по истории русской общественной мысли второй половины XIX века". Но это лишь малая часть необходимых сведений.

А. М. Иванов гораздо более известен под своим псевдонимом А. Скуратов как один из авторов журнала "Вече", являвшийся в нем представителем именно антихристианской, даже неоязыческой фракции, о которой Янов в своих последующих эмигрантских публикациях старается не упоминать или даже отрицает ее существование,¹ хотя Иванов-Скуратов являлся другом Янова и даже фигурирует анонимно в его последующих сочинениях.²

Позднее Иванов сблизился с художником Глазуновым и опубликовал письмо в его защиту. Иванов, проделав путь от демократа до русского националиста, сумел к 1969 году превратиться, после нескольких лет принудительного заключения в психиатрическую лечебницу, в критику марксизма, в критику режима справа.³ Он нападал и на Солженицына, в чем достаточно легко убедиться из его статьи, опубликованной в сборнике *"Август 1914 года" читают на родине*, изданном ИМКА-пресс.

Это, кстати, впоследствии обошел молчанием Янов.

Впрочем, я не ставлю своей задачей критику Иванова. Я хотел лишь указать на то, с кем и против кого выступал Янов в 1969 году в дискуссии о славянофильстве.

Иванов поддержал Янова безоговорочно, несмотря на его спорное указание о том, что "последыши" славянофильства пришли в черную сотню. Быть может, он просто считал это нормальным.

Он в одном лишь упрекает Янова — в том, что область литературной критики, на которой тот главным образом останавливается, "мало подходит для выполнения названной задачи", а задача эта, которую "можно лишь приветствовать," — это "стремление Янова подчеркнуть положительные стороны славянофильства" (стр. 132).

Сам Иванов восхваляет славянофилов уже безоговорочно. "Главной чертой, которую ценили славянофилы в русском народе, было бы вовсе не смирение, а общинный дух, как бы выразились теперь, чувство коллективизма, противопоставляемое индивидуализму и эгоизму буржуазного Запада" (стр. 131).

Единство Янова и Иванова-Скуратова в вопросе о славянофильстве само по себе не вызывает осуждения, но в своих поздних, уже эмигрантских публикациях, Янов предпочитает об этом умалчивать.

В самом деле, было бы странно, если бы выяснилось, что страстный либеральный обличитель русского национализма и Солженицына выступал единым фронтом с его критиками справа. Ведь сейчас Янов называет себя "одиноким Кассандрой" борьбы против Солженицына.⁴

Еще более знаменательна позиция Вадима Кожинова в дискуссии в "Вопросах литературы". В статье "О главном в наследии славянофилов" он, как и Иванов, поддержал Янова, но, пожалуй, более сдержанно. Впрочем читателю надо знать место Кожинова в советской общественной жизни. Дело в том, что он является давно уже одним

из интеллектуальных лидеров русского национализма, и Янов это отлично знал. Кожинов в этом качестве, в частности, упоминается в статье Яковлева в "Литературной газете" в ноябре 1972 года. Но, со свойственной Янову "честностью", он в этой связи Кожинова не упоминает.

А Кожинов приветствовал Янова в 1969 году, включая и его идею о преемственности "черносотенства" от славянофильства. "Славянофильством, — говорит Кожинов, — нередко называют чрезвычайно широкую и исключительно разнородную тенденцию в развитии русской общественной мысли — тенденцию, так или иначе основанную на идее сущностной самобытности России. Это ясно выразилось, например, в статье Янова, открывшей дискуссию: славянофильство здесь — хотя и с оговорками — возводится к идеологии непосредственных противников петровской реформы, а своего рода завершающую его стадию автор усматривает в 'черносотенной идеологии начала XX века'".

"Что ж, — с удовлетворением замечает Кожинов, — если под славянофильством в широком смысле иметь в виду общую идею самобытности, Янов прав".

Кожинов легко согласился и с весьма спорной идеей, согласно которой "черносотенство" вытекает из славянофильства, но потому лишь только, что вероятно для него "черносотенство" не является величинной отрицательной, и он рад был возможности через дверь, услужливо открытую Яновым, узаконить его вместе со славянофильством.

Суть же славянофильства Кожинов видит в "утверждении принципиальной самобытности России, ее образа жизни, ее культуры и, в особенности, самой русской мысли" (стр. 126).

Но даже и из того, что Янов был поддержан Ивановым-Скуратовым и Кожиновым, все еще не вполне ясно его место в дискуссии о славянофильстве. Окончательную ясность вносит в это статья Дементьева "Концепция, конструкция и модель". Известно, что Дементьев, один из ведущих сотрудников "Нового мира" при Твардовском, годом ранее выступил против критика "Молодой гвардии" В. Чалмаева как выразителя русского национализма. Так вот, статья Дементьева в дискуссии о славянофилах не оставляет ни малейших сомнений в том, что он считал статью Янова вреднейшим продолжением той же линии, которая была начата "Молодой гвардией". Дементьевская статья против Янова носит весьма язвительный характер. Даже первая ее фраза звучит издевательски: "Итак, Янов решил внести свою лепту в изучение славянофильства". Дементьев полностью отвергает позицию Янова: "Идеализация славянофилов, их философии и теории 'самобытности', их 'патриотизма' и отношения к Западу, их 'народности' и 'народолюбия' ничего, кроме вреда, никогда не приносила и не может принести" ("Вопросы литературы", № 10, 1969, стр. 129).

Как должен был Янов презирать своего читателя, чтобы позднее, в своих эмигрантских публикациях, захлебываясь рассказывать о "справедливой" борьбе Дементьева с Чалмаевым, ни словом не обмолвившись о том, что сам-то он был для Дементьева еще более отрицательной фигурой, чем Чалмаев.

Чтобы поставить точки над *i*, можно сослаться на слова из заключительной обзорной статьи С. Машинского ("Вопросы литературы", № 12, 1969), где Янов, Иванов и Кожинов рассматриваются как группа единомышленников.

Сам Янов в своем заключительном слове (№ 12) вступил в бойкую полемику с Дементьевым и его сторонником Покровским. Правда, в его статье неожиданно обнаружилась и некоторая полемика с Кожиновым, который Янова, как мы знаем, поддержал (но не с Ивановым). Янов вдруг заявил, что "антиславянофильская традиция" потому плоха, что вызывает "апологию славянофильства, с которой можно бороться, борясь с антиславянофильской традицией".

Неожиданное недовольство Кожиновым могло объясняться двумя причинами. Во-первых, круги, выразителем которых был Кожинов, отнюдь не были готовы принять представительство со стороны еврея Янова, вдобавок действовавшего согласно мотивам, которые могли казаться им подозрительными. Поэтому чувствовалось, что Кожинов, будучи рад поводу высказаться о славянофильстве, отнюдь не соглашался с тем, чтобы этот партийный журналист вдруг оказался идеологом неославянофильства, а это и было именно то, к чему явно стремился Янов, и что было замечено Дементьевым.

Но могла быть и другая причина. К концу дискуссии отношение начальства к ней могло измениться, так что Янов, вначале полагававший, что быть знаменосцем славянофильства приносит дивиденды, к концу, убедившись, что это не совсем так, решил сделать кое-какие оговорки.

Но как бы то ни было, в лице Иванова Янов получил полную поддержку тех сил, которые он позднее назовет "диссидентской правдой". Заметим, что в своем заключительном слове Янов ни словом не выступил против него.

Одновременно Янову была дана еще одна возможность и возможность уникальная, которую он не без блеска использовал. В том же 1969 году Янов задался целью реабилитации Константина Леонтьева, о котором в положительном смысле не упоминала печать с 1917 года. В блестяще написанной статье (я это подчеркиваю) Янов приложил все усилия, чтобы показать советскому идеологическому начальству, что все обвинения Леонтьева в реакционности и т. п. несправедливы и что Леонтьев легко может быть приспособлен к целям советской идеологии.

Так например, Янов старается сделать приемлемой для официальной

идеологии даже идею “подмораживания” России. “Закрывать окно в Европу и заколотить в нее двери, предлагает Леонтьев, — поучает начальство Янов. — Но разве ‘подмороженная’ Россия способна создать новую культуру? И где гарантия, что живой и тлетворный источник мещанской заразы снова и снова в нее не проникнет, что не явится новый Петр с топором, прорубающим новое окно в воздвигнутой такой страшной ценой стене ‘культурной независимости’? Не было такой гарантии... если не считать полного и окончательного сокрушения Европы. Страх подвигает Леонтьева на колоссальную гипотезу: лишь став лидером поработанного Европой человечества, воспрянет ‘подмороженная’ Россия и станет силой созидательной: способной к выработке новой культуры” (“Вопросы философии”, №8, 1969, стр. 105).

Перевод ясен: СССР и есть осуществление леонтьевских идеалов, если их правильно понять, ибо он и есть “лидер поработанного Европой человечества”.

Все то же презрение к читателю, который как бы не способен раскопать старые публикации, позволило Янову утверждать девять лет спустя,⁵ что его диссертация о Леонтьеве не была опубликована, не ссылаясь при этом на свою статью в исключительно влиятельных “Вопросах философии”, где отражены все основные идеи диссертации. В то же время на некоторые другие свои статьи советского периода Янов ссылается. Янов сделал это, чтобы скрыть от англоязычного читателя свою статью о Леонтьеве 1969 года, ибо, то, что говорилось в ней, полностью противоречило тому, что говорил Янов этому читателю, доказывая необходимость быстрее “европеизации” России. Я не поколеблюсь утверждать, что в этом случае, как и во многих других, Янов совершает научный подлог.

Янов патетически заканчивает свою “неопубликованную” статью о Леонтьеве: “Не пришлось Леонтьеву при жизни сослужить свою службу реакции. И попытки заставить его служить ей после смерти, конечно, тоже обречены” (стр. 106).

Оказывается все же не обречены, ибо сейчас Янов трубит о Леонтьеве как о самом главном идеологе правой русской мысли.

Честно говоря, разбираться во всем этом становится достаточно неприятно, но это лишь начало. Одно ясно: в 1969 году Янов выдвинулся или же пытался выдвинуться как ведущий идеолог русского национализма, как пионер приспособления русской правой и консервативной мысли к потребностям советской пропаганды.

МАРОДЕРСТВО В “НОВОМ МИРЕ”

В своей недавней книге, к которой мы еще вернемся,⁶ Янов утверждает, что истинной причиной разгона “Нового мира” в 1970 году была

статья Дементьева против Чалмаева, точнее борьба "Нового мира" против "Молодой гвардии" (естественно, о борьбе Дементьева против самого Янова умалчивается). Если это так, следует обратить внимание на то, что Янов оказался одним из тех, кто немедленно стал печататься в "Новом мире" сразу после его разгрома. Ранее же он туда доступа не имел, по крайней мере в 1966-70 годы.

В то время как интеллигенция объявила бойкот "Новому миру", Янов немедленно появился в числе его авторов. Уже в мартовском номере этого журнала за 1971 год была напечатана его рецензия на книгу Гулыги о Гегеле. Сам выбор его первой публикации в "Новом мире" знаменателен. Славянофильская тема была Яновым основательно забыта. Дело в том, что к этому времени славянофильство стало невыгодным, после ряда административных взысканий. Зато Янов начинает поставлять "Новому миру" самую тошнотворную марксистскую псевдокритику, устраивавшую новую редакцию и порою напомиравшую худшие образцы этой критики 1920-х годов. Янов не постеснялся утверждать, что "уникальная двойственность и противоречивость гегелевского учения проистекала из... уникальной двойственности и противоречивого положения прусской буржуазии" (стр. 272). Ну-ну!

Эти слова Янова уместно вспомнить, читая его хвастливые рассказы о том, как он смело "полемизировал в СССР со своими марксистскими оппонентами". А тогда, в невинном 1971 году, Янов писал в поверженном "Новом мире": "Для того, чтобы превратить гегелевскую мысль в действительную 'алгебру революции', классикам марксизма надо было самостоятельно и глубоко рассечь ее и дифференцировать, истолковать и развить, отбросив все то, что было в ней от 'философии реставрации', но сохранив то, благодаря чему человечество научилось мыслить объемней, шире, отважней" (стр.274).

В то время от критика уже и не требовалось такой услужливости в отношении "классиков", чему можно привести много примеров. Янов добровольно выполнял услуги партийного пропагандиста, усиленно высматривающего горячие точки, на которых можно было привлечь внимание к себе. В 1969 году такой точкой казалось славянофильство, а в 1971 году — неомарксизм. В 1972 году Янов публикует в "Новом мире" пространную статью о рабочем герое, представляющую классический пример советской критической демагогии.

Не этим ли Янов пытался заместить исчезнувших из журнала прежних властителей мысли — Синявского и Лакшина? Любопытно, будучи уже издателем журнала "Синтаксис", удосужился ли Андрей Синявский заглянуть в оставленный им в 1965 году "Новый мир" и посмотреть, что же писал в нем в то время, когда он сидел в лагерях, его нынешний литературный сотрудник Янов? А ведь Янов был, что называется, "мародером" "Нового мира", оставшегося без Твардовского и его сотрудников.

В 1972 году Янов напал на страницах "Нового мира", завоеванного им при поддержке неославянофилов, даже на неославянофильского критика Ланщикова. К тому времени Янов мог знать о готовящемся выступлении против этого течения ответственного сотрудника ЦК Яковлева, опубликованном в ноябре 1972 года в "Литературной газете".

Янов в своих взглядах колебался в точном соответствии с линией идеологического отдела ЦК КПСС, причем колебался вдохновенно, с присущим ему блеском. В этом, может быть, и заключается главный и неоспоримый талант Янова — вдохновенно и талантливо колебаться и перевоплощаться.

ПАРТИЙНЫЙ СОЦИОЛОГ

Но еще более примечательно очередное перевоплощение Янова в партийного социолога и автора журнала "Молодой коммунист". В отличие от популярных среди интеллигенции "Нового мира", "Вопросов литературы", "Вопросов философии" журнал "Молодой коммунист" не читается никем, кроме разве профессиональных комсомольских работников, так что Янов мог пребывать в полной уверенности, что никто из интеллигенции даже не откроет его из одной лишь брезгливости. Именно поэтому в "Молодом коммунисте" Янов позволяет себе гораздо больше как профессиональный пропагандист и, как всегда, с вдохновением, с убежденностью, с блеском. В статье "Что положит на стол социолог", опубликованной в "Молодом коммунисте" в 1972 г. (№ 2), он подробно, по-хозяйски рассматривает проблемы автоматизации труда в пластмассовом цехе Первого телефонного завода. Янов доказывает необходимость не только экономического, но и социального планирования. Что это такое? Янов тут же и поясняет. Это средство для партийных, комсомольских, профсоюзных организаций осуществлять эффективный социальный контроль над общественными процессами. "Такого рода социальный контроль, — говорит Янов, — выступил бы как дальнейшее развитие производственной демократии, к которой призвал XXIV съезд партии".

Но Янов не ограничивается лишь заботами о выполнении решений съездов партии. Он выступает на страницах того же журнала и как активный кинокритик. Читатель напрасно будет искать фильмы, о которых писал Янов, в справочниках Жоржа Садуля. Сферой его интересов были такие фильмы, которые вообще игнорировались зрителем. Вот, например, разбор Яновым неизвестного и недоступного широкой публике фильма "Офицер запаса", в котором говорится о боевом командире, ставшем секретарем райкома ("Молодой коммунист", № 6, 1972 г.). Оказывается, что для Янова пороком фильма была

недостаточная выявленность насущных задач партии... “Замысел фильма полезен и актуален, — соглашается он, — проблема, поставленная в нем, носится, можно сказать, в воздухе времени, ожидая квалифицированного воплощения”. Янов горько сетует на то, что он возлагал на фильм огромные, небывалые надежды, полагал, что это будет *фильм года*, но он разочаровал его. “Когда, — в порыве доверия к читателю замечает Янов, — в фильме появился молодой зоотехник Барбу, главный девиз которого ‘не будем спорить, но будем считать’, мне на мгновение показалось — сейчас и пройдет передо мной ‘фильм года’”. Вот оно как! А, правда ведь, отличный девиз!

Не будем, г. Янов, спорить, будем только показывать Ваши вдохновенные перевоплощения.

В том же журнале он печатает позднее (1973, № 3) рецензию на кинофильм “Молодые”, в которой он в лучших традициях Бабаевского, Мальцева и других столпов сталинского соцреализма двадцатилетней давности, не стесняясь декларирует его основные принципы: “Разве в правдоподобию, разве в создании копий, похожих на свои оригиналы, суть искусства, его цель, его назначение?” (стр. 101). Причем эти слова направлены на то, чтобы укорить зрителей фильма, которым понравилось в нем то, что главный герой фильма — бригадир — предстает грубоватым и сильным парнем, берущим от жизни все сильной рукой. Нет, говорит Янов, положительный герой должен быть добрым, справедливым, сознательным строителем коммунизма.

Янов, захлебываясь от энтузиазма, пишет: “Мы в пути, мы в поиске, мы в самом кратере научно-технической революции, поминутно рождающей новые коллизии” (там же, стр. 99).

Итак, читатель, перед тобой Янов в новой ипостаси — в роли мудрого советника партии по части социального планирования, в роли серьезного воспитателя советской молодежи в духе решений последнего съезда партии.

Это не последняя его ипостась. В самом деле, спустя всего лишь несколько месяцев после громких дифирамбов партии, НТР, лично товарищу Брежневу Янов внезапно испытывает душевный перелом. А, может быть, находясь в самом кратере НТР, он, подобно герою рассказа Эдгара По, также попавшему в кратер (правда, не НТР), по новому взглянул на тайны жизни? Кто знает!

Так или иначе, но в том же “Молодом коммунисте” (№ 2, 1974), в месяц высылки Солженицына, Янов публикует дерзкую статью о Герцене, в которой доказывается великая польза эмиграции для борьбы против политической мафии, правящей страной. Хотя все, о чем говорилось в статье Янова, относилось к XIX веку, любой грамотный читатель, уже привыкший к зэповскому языку Синявского, Лакшина, Белинкова и др., без труда продолжил бы яновскую параллель на современность. Но дело в том, что никакого такого читателя у этого

журнала не было и не могло быть, кроме, правда, цензоров и редакторов, так что статья, которая могла бы сделать Янова едва ли не лучшим диссидентским пером, прорвавшись в официальную печать, осталась втуне. Но даже и через цензоров и редакторов она могла пройти разве лишь с помощью старика Хоттабыча, по-видимому давно пойманного Яновым и жившего у него дома в аквариуме в виде золотой рыбки. А чего только не может, как нам известно, старик Хоттабыч! (Помощь Янову со стороны Воланда я считаю маловероятной).

БОРЕЦ С РУССКИМ НАЦИОНАЛИЗМОМ

Оказавшись в США, Янов является в новой ипостаси — в виде борца против русского национализма. Он публикуется на русском и английском языке, хотя, правда, тщательно различая то, что следует публиковать на том или ином языке. Вскоре он свел почти все написанное им за рубежом в книгу *The Russian New Right* (Berkeley, 1978). Заметим, однако, что центральный тезис его книги — необходимость сотрудничества США со здоровыми силами в Политбюро и ЦК КПСС с целью совместного недопущения к власти противников Брежнева справа, из которых самым опасным и зловредным является грузчик одного из московских продовольственных магазинов Геннадий Шиманов — этот тезис в русских публикациях Янова не появился. Так будет спокойнее, видимо, рассудил он благоразумно. И то правда!

Но рассматривая все яновские ипостаси, начинаешь чувствовать их глубокое внутреннее единство. Во всех есть одна центральная идея — защита интересов этих “здоровых сил”, куда бы они в данный момент ни клонились.

Уже из одного перечня рассматриваемых Яновым проявлений русского национализма видно, что его книга представляет грубое искажение этого явления общественной жизни России. Он исключил из нее наиболее могущественные и влиятельные группы, представленные в официальном правительственном и пропагандистском аппарате, ограничившись течениями оппозиционными, к тому же крайне уродливо представленными.

Лишь эпизод с “Молодой гвардией” конца 1960-х годов претендует на освещение того, что происходит в так называемой “правой части” эстеблишмента. Остальное — ВСХСОН, “Вече”, Солженицын, “Из-под глыб” и злодей Шиманов — то есть лишь проявления русского религиозного национализма, находящегося в оппозиции к режиму.

Но даже то, что касается “Молодой гвардии”, крайне искажено и ограничено всего двумя ее статьями: М. Лобанова и В. Чалмаева. Кроме того, Янов вскользь упоминает имена поэта Чуева и критика Семанова, а также снятие с поста редактора “Молодой гвардии” Никонова

и неудачу инициативы директора издательства "Молодая гвардия" Мелентьева.

Кроме того, рассматривается статья Дементьева против Чалмаева и письмо против Дементьева в журнале "Огонек".

Любопытно, что из анализа перечисленных Яновым имен и фактов выявляется следующий принцип — не выставлять в отрицательном свете никого из представителей советской культурной и политической элиты, которые не были бы объектом каких-либо административных взысканий в СССР.

Поэтому любой читатель, прочитав хотя бы статью тогдашнего заместителя заведующего Отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС Яковлева, опубликованную в "Литературной газете" в ноябре 1972 г., получил бы гораздо более широкое представление о том явлении, которое Янов в виде сенсации пытается представить западному читателю. Так, он даже не упоминает важнейших имен, упомянутых Яковлевым, как например, Кожина, Ланщикова, а также Яковченко, Ершова, Хватова и др.

Не сказано также ни слова о таких лидерах этого же течения, как критики П. Палиевский и Д. Жуков, художник И. Глазунов, писатель А. Софронов и многие другие. Все они занимают ключевые посты в советской культурной и даже политической жизни, и без упоминания их и анализа их деятельности все, что говорится Яновым о "Молодой гвардии", является тривиальным анекдотом.

Все, что преподносится Яновым как сенсация, гораздо более полно описано в интереснейшей дискуссии о неославянофильском направлении в советской литературе, опубликованной еще в 1973 году в американском журнале *Slavic Review* (№ 1), участниками которой были американские слависты Джордж Клайн, Джек Хани и Томас Берд. Там можно действительно получить широкую информацию, а не намеренно искаженный пересказ всем известной полемики между Дементьевым и Чалмаевым.

Несомненно, что Янов обо всем этом отлично знал, но это-то и ставит его писания в очень сомнительный контекст, ибо создается впечатление, что он преднамеренно хотел резко уменьшить значение русского национализма в советской *официальной* литературе и культуре, а также политической жизни, дабы убедить читателя, что вся угроза исходит от так называемых "правых" диссидентов.

Если всерьез заняться анализом советской общественной жизни, можно убедиться, что "правая оппозиция" представляет собой сложный спектр явлений, включающий критический пересмотр всей советской истории, всех принципов советской общественной жизни и даже политики.

Так, один из подписавших письмо против Дементьева — главный редактор журнала "Наш современник" Сергей Викулов — выносит

суровый приговор коллективизации сельского хозяйства на страницах той же "Молодой гвардии", но уже 10 лет спустя после статей Чалмаева. Викулов, пользуясь игрой слов, говорит о "годе великого перелома" как о переломе костей.

...А перелом —
великий, собственно, иль малый —
как ни крутись, болит потом.
И деды помнят, что болело,
Да утверждают и зело,
Пока совсем не затвердело,
Пока хрящем не обросло.
(1978, № 5, стр. 135)

Другой "подписант" письма против Дементьева — Петр Проскурин — в романе "Имя твое" (1977 год), ставит вопрос по существу о том, стоят ли нечеловеческих жертв народа (русского народа!) амбиции СССР стать сверхдержавой с водородным и ракетным оружием. Именно так открыто трактует роман Проскурина критик А. Шагалов в журнале "Молодая гвардия". Шагалов наиболее положительно отзывается о персонаже романа, осуждающем космические полеты, крестьянине Захаре Дерюгине, которому, по словам Шагалова, "безмерно дороже мысль о земле, о хлебе, о поколении, которое неслышанно великой ценой оплатило путь нашего народа в космос" (1978, № 1).

Поэт Егор Исаев в поэме, изданной в 1978 году "Роман-газетой" тиражом в полтора миллиона экземпляров, символизирует страдания русского народа в советский период в образе "Кремень-слезы". Мужики находят в лесу окаменевшую огромную слезу и рассуждают о том, кому она принадлежит. В конце концов они сходятся на том, что слеза эта вековая, мужицкая — и старая, и новая.

Едино все
Одни же перекрестки
Петли и шеи
Розги и спины
Одна ж тюрьма
Одни ж пути-дороги
Погонные: грузи, народ, вези!
А что в итоге?
Ясно, что в итоге
Слеза не просто,
А всяя Руси
Слеза-кремень.

С другой стороны, имеется преднамеренно опущенный Яновым целый пласт политической и художественной литературы, которая также является открытым вызовом всей системе, но с точки зрения воинствующего антисемитизма, так что единственным источником зла в советской истории и действительности оказываются евреи.

Надо сказать, что этот воинствующий антисемитизм является также и даже в большей степени оружием "здоровых" сил. В обширной уже "антисионистской" литературе открыто утверждается, что главным внутренним врагом является так называемый "сионизм", которому придается весьма расширенное толкование и который отождествляется, по существу, с космополитической коммунистической идеологией, в то время как понятие "коммунизм" видоизменяется и заменяется чем-то совершенно иным. Более того, происходит отождествление "сионизма", "масонства", "троцкизма". Главными носителями "антисионистской идеологии" являются Ю. Иванов, В. Бегун, Е. Евсеев, И. Шевцов, М. Колесников, С. Семанов, С. Софронов, М. Алпатов и другие.

Шевцов утверждает, по существу, что вся страна находится под властью "сионистов", а в одном из его романов прозрачно выведен Брежнев в виде первого секретаря райкома партии, женатого на еврейке, внушающей ему тлетворные идеи.

Недавно опубликованный М. Колесниковым роман о Куйбышеве изображает его как сознательного борца против масонства в партии, причем как на масонов указано на Троцкого, Бухарина, Иоффе, Крестинского и т. д.

Главный редактор "Молодой гвардии" Анатолий Иванов опубликовал в 1976 году роман "Вечный зов", трактующий советскую историю как борьбу против троцкистского заговора, причем Троцкому приписываются слова: "Мы разведем партию изнутри, мы должны выполнить нашу роль раковой опухоли" ("Москва", № 9, 1976, стр. 7).

Если Шевцов, Колесников, Емельянов, Иванов — оппозиция, то уж слишком она сильна, слишком верно служит сегодняшней коммунистической власти.

Итак, вся картина, данная Яновым, является грубейшим искажением действительности.

Янов хочет представить историю так, что вот только сейчас истинно коммунистическому руководству партии стали угрожать русские националисты. Это полностью противоречит советской истории. Уже к 1927 году течение, которое можно назвать национал-большевизмом, стало лидирующим течением в партии. То, что происходит сейчас, это уже не борьба национал-большевизма с коммунизмом, как это было в 1927 г., а борьба внутри национал-большевизма, причем такая, что последним остаткам коммунистической идеологии, оправдывающей амбиции коммунистического СССР как сверхдержавы, бросается

серьезный вызов со стороны различных течений: от Солоухина до Шевцова.

Янов, называющий себя социологом, рисует настолько инфантильную картину политической борьбы внутри советского руководства, что трудно представить, как можно всерьез воспринимать его тезисы в качестве имеющих хотя бы отдаленное отношение к науке.

Получается, что в советском руководстве имеется лишь личный конфликт людей, имеющих различные взгляды, так что все выглядит лишь как борьба идей, неизвестно откуда взявшихся. Нет почти ни слова о том, на какие социальные силы, на какие социальные процессы эти идеи опираются. Но если бы Янов попытался дать социальный анализ, получилось бы, что весь тезис о здоровых силах, не выдерживает ни малейшей критики. Дело в том, что т. н. "правая" оппозиция советского руководства опирается на реальный социальный процесс: демографические сдвиги в населении СССР, которые никакие "здоровые" силы не в состоянии предотвратить. Быстрое падение удельного веса русских в населении СССР и гораздо более быстрое возрастание удельного веса и абсолютной численности мусульманских народов ставит перед страной исключительно трудные задачи и даже ставит под вопрос саму устойчивость советской политической системы, необходимым условием которой было всегда численное доминирование русских. Русская деревня исчезает, в то время как сельское население мусульманских районов не только не убывает, но и быстро увеличивается. Быстрая урбанизация, являющаяся следствием быстрой научно-технической революции и, в основном, в русских районах, массовый алкоголизм подрывают русскую демографическую базу, основательно подорванную революцией, коллективизацией, войной, депортациями и т. п. Деревня, как утверждают в один голос Проскурин, Викулов, Исаев и многие другие, после войны еще раз была принесена в жертву идеологическим амбициям СССР как сверхдержавы, ибо из нее черпались человеческие ресурсы для дальнейшей индустриализации, для строительства военной промышленности, для добычи урановых и иных руд.

А сейчас, как утверждает, например, Викулов, деревне грозит еще один "Перелом", после которого она уже не восстановится. Научно-технический прогресс, поставленный на службу сверхдержавным амбициям коммунистического лидерства, уничтожает не только деревню, он уничтожает основу русских как нации, ибо, попав в города, большинство бывших крестьян теряет то, что у западных социологов принято называть *national identity*. Они подвергаются действию разрушительных социальных процессов.

Дальнейшая экспансия, дальнейшее развитие индустрии, поставленной на службу ядерно-ракетной гонке, грозит резким ослаблением

русских как нации, а это ставит под вопрос само существование страны как устойчивой политической системы.

Если в первые послевоенные годы Михаил Исаковский мог сказать "Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна", то еще с большим основанием могут повторить этот лозунг нынешние "правые" в противовес "здоровым" силам, которые, пожалуй, сочтут слова Исаковского крамолой. Им теперь все нужно: и Ангола, и Мозамбик, и Уганда, и Афганистан, и берег кубинский.

Изоляционизм, осуждение научно-технической революции как опоры сверхдержавных амбиций дряхлеющего коммунизма, призыв к спасению природы, предчувствие смертельной схватки с миром Востока, проникает писания "правых". Их символами становятся теперь не только Куликово поле, но и Непрядва, и даже Калка.

Поэт Валентин Сорокин недвусмысленно дает понять, что он видит угрозу не столько в Китае, сколько в Азии вообще. Символом угрозы становится пустыня, которая между прочим, никогда в русском сознании не была символом Китая.

И те пути под вечною Москвою,
Которые копытил Батухан,
Не заросли беспечною травой!
И лишь едва я выйду на крыльцо,
Ударит в грудь знакомо и жестоко
И защемит, и обожжет лицо
Змеиный зной пустыни и Востока.
(*"Молодая гвардия"*, № 6, 1978)

При таком мирозерцании дальнейшая экспансия была бы безумием. Правда, все это направление менее всего заботится о политических правах народа, оно беспокоится лишь о его физическом выживании.

Все это можно принимать или не принимать, но важно понять, какие социальные механизмы питают оппозицию "справа" — оппозицию так называемым "здоровым силам".

Янов утверждает, что "здоровые силы" являются сторонниками умеренного международного курса, разрядки и т. п., а оппозиция этим силам толкает Россию на агрессивный курс. Но все обстоит как раз наоборот. "Здоровые силы", делающие ставку на международное коммунистическое и террористическое движение, на разрядку, являющуюся на деле всемерным проникновением в западный мир, и есть самая страшная агрессивная сила, угрожающая Западу, в то время как оппозиция им, несмотря на свой антидемократизм, является силой сугубо изоляционистской.

Перспектива легкого захвата Западом не может ее радовать и привлекать, ибо в этом случае легко представить себе как "развращенные

западной цивилизацией” русские люди в попытке подчинить своему господству Запад подпадут под его окончательное влияние и потеряют малые остатки национального самосознания. Может повториться то, что уже раз было в русской истории после победы над Наполеоном, когда влияние побежденной Франции распространилось на Россию.

Именно поэтому Янову и надо было отыскать что-либо, что послужило бы основанием его обвинения русского национализма наших дней в агрессивности. Счастливой находкой для него оказался Шиманов, проповедующий распространение во всем мире... православия с помощью советской имперской силы.

Этот ход Янову был очень выгоден. Он отлично знал, что Шиманов неизвестен за пределами небольшого кружка религиозных русских националистов радикального направления, и тем не менее представил его всемирным пугалом.

Как видно, центр тяжести критики Янова сосредоточен на т. н. “диссидентской правое” с плохо скрытой целью заклеить Солженицына как едва ли не лидера русского фашизма.

В качестве основного оппонента Янов выбирает американского ученого Джона Данлопа, автора обширной монографии о ВСХСОН.⁷ Чтобы дискредитировать Данлопа, Янов не жалеет никаких усилий, причем главным его обвинением является якобы ненаучность Данлопа. Но всерьез вступать с Яновым в дискуссию о степени научности Данлопа после всех его многочисленных подлогов, укрытий фактов и их перетасовки — неуместно. Его критика ВСХСОН является лишь политическим документом, цель которого опорочить ВСХСОН и доказать лишний раз, как правы здоровые силы в том, что преследуют подобные организации.

В критике “диссидентской правое” Янов старается быть по возможности более язвительным. “А что сделает со мной правительство... Вагина (?!), со мной и с близкими мне по духу (!!)- не русскими православными (и соответственно “не русскими”), не близкими к ВСХСОН и политически инакомыслящими? Не будет ли естественно для такого правительства — в конце концов — сослать меня навечно за границу? Но я ведь уже в изгнании!”⁸ Вот оно что! Оказывается, Янов был изгнан, а не уехал в США по израильскому вызову! Что-то никак не похожа поездка Янова в США с целью защиты “здоровых сил” на изгнание...

Столь же “серьезны” нападки Янова на “Вече”, где он, по возможности, старается обходить молчанием деятельность своего соратника Иванова-Скуратова и историю конфликта в “Вече”, полностью документированную в Самиздате, откуда читатель узнал бы, что конфликт этот возник в результате столкновения христианской и нехристианской фракций этого движения. Но это Янову было невыгодно. Что

касается его нападок на сборник "Из-под глыб", то я как один из его авторов все же сделаю несколько замечаний.

Посмотрим, что Янов вменяет в вину авторам этого сборника:⁹

1) Концепцию мирового кризиса как результата "секуляризации культуры" в период Возрождения.

Янов, опомнитесь! Пожалуйста, ну хотя бы Блока прочтите, чтобы не впадать в такой конфуз. Я уже не говорю о таких людях, как Шпенглер или Бердяев. Уж никак авторы "Глыб" не могли здесь претендовать на новизну.

2) Критику парламентской демократии как исторического искажения. Здесь Янов идет на преднамеренную ложь. В своей статье я, например, утверждал, что парламентская демократия утрачивает свою ценность и стабильность по мере утраты обществом нравственных и религиозных ценностей. Критиков же парламентской демократии "слева" было столь много, начиная от Бакунина до новых левых, которых Янову в Беркли приходится видеть ежедневно, что трактовать эту критику как идею "правую" по меньшей мере безграмотно.

3) "Пионерскую" идею двух свобод: "внешней" и "внутренней". Янов, ну хоть Толстого почитайте, чтобы убедиться, что и здесь авторы "Глыб" не претендовали на оригинальность. Но ведь Янов это знал. Он просто паясничает перед западным читателем, которого он совершенно не уважает, будучи уверенным в том, что о Толстом тот знает понаслышке. Идея же внутренней свободы, противопоставляемой свободе внешней, встречается и в христианстве, и в иудаизме, и в буддизме и вообще является идеей всемирной культуры уже очень давно.

4) Противопоставление "просвещенного авторитарного строя" "тоталитаризму".

Такого противопоставления в сборнике нет. Есть лишь утверждение о том, что "диктатура" и "тоталитаризм" разные вещи и смешивать их нельзя. Нигде не утверждается, что "диктатура" есть нечто позитивное.

5) Идею нации как личности.

Эта идея, милейший Янов, никак не является изобретением Борисова. Она коренится в иудео-христианском воззрении глубокой древности, по существу является фундаментальной идеей иудаизма (идея "Израиля"), что например утверждает один из ведущих авторитетов современного иудаизма — американский раввин Соловейчик.¹⁰

6) Критику интеллигенции.

И здесь "Глыбы" продолжают старую традицию русской культуры, начавшуюся от Бакунина, смотревшего на интеллигенцию, как на профессиональный класс паразитов, эксплуатирующий нужды других классов в собственных целях. Гораздо правильнее смотреть на Солженицына и на других авторов "Глыб", как заметил ведущий американский специалист по русскому анархизму — Поль Аврич, — как на

мыслителей, находящихся в рамках традиций Бакунина, Кропоткина, Толстого.¹¹

На примере критики "Глыб" "научное" лицо Янова выглядит особенно выпукло. Оно приобретает еще большую рельефность, если заглянуть в так называемые "приложения" к его книге.

Принцип подбора этих приложений вполне ясен. Смешать в одну кучу материалы подлинные и фальшивые, относящиеся к делу и не относящиеся, дабы представить врагов "здоровых сил" в как можно более неприглядном свете. Один из самых предосудительных поступков Янова — публикация им как подлинного документа "письма русских националистов" на "Радио Свобода", представляющего собой заведомую фальшивку. И кстати, почему вообще наличие того или иного антисемита на эмигрантском Радио Свобода должно говорить об опасности русского национализма в СССР?

Но Янова истина не интересует. Ему необходимо лишь дискредитировать русских националистов в глазах некомпетентных западных читателей. Там русские, здесь русские — авось и отождествят!

Вот так и работаем! Мало фальшивого письма, давай сюда еще и старца Орехова, почти всю жизнь прожившего в эмиграции. Авось прочтут жалостливые люди и Брежнева пожалеют. Ведь не только зловещий Шиманов, но и Орехов из Брюсселя собирается в поход на здоровые силы. Господи! Да что это такое будет! Ведь это похуже Деникина, Колчака и Врангеля вместе взятых!

Обильно насыщая свои приложения фальшивками и притянутыми за уши документами, Янов старательно обходит молчанием и даже не ссылается на документы Самиздата, полностью противоречащие всей его концепции "диссидентской правдой". Он не упоминает хорошо ему известное "письмо Самолвина", где Солженицын обвиняется в прислуживании сионистам,¹² не упоминает статью своего соратника и друга Иванова-Скуратова против того же Солженицына, обвиняемого им в недостатке патриотизма.¹³ Не упоминает ультиматум журналу "Вече", призывающий прекратить защиту православия, ибо оно, как и все христианство, оказывается, является инструментом еврейского закабаления мира. Эти документы были опубликованы за границей еще в 1975 году, а письмо Самолвина ходило по рукам еще в 1971 году. Зачем же Янову понадобилось скрывать эти документы?

Вряд ли есть что-либо более предосудительное в научной жизни, чем умышленное скрытие документов, имеющих прямое отношение к вопросу и опровергающих утверждения автора. Это — научное преступление.

Янов не ограничивается защитой "здоровых сил" внутри СССР. Он ополчается и на их противников в США, выступающих против так называемой разрядки.

Он дерзновенно выбирает объектом своих нападок известного ученого Ричарда Пайпса. Знай наших! Его не устраивает статья Пайпса,¹⁴ где тот весьма убедительно доказывает, что доктрина взаимного сдерживания используется в СССР как предмет экспорта, поставляемый Институтом США и участниками Пагоушских конференций, в то время как на самом деле собственной доктриной СССР является победа в ядерной войне. Как утверждает Пайпс, доктрина взаимного сдерживания есть лишь способ усыпить бдительность Запада. В самом СССР она рассматривается как "буржуазный пацифизм".

Янов не жалеет язвительных выражений в адрес Пайпса. "В отличие от Пайпса, — напыжившись говорит Янов, — я не считаю себя компетентным реконструировать советскую военную доктрину". (Заметьте намек: если уж я не компетентен, то куда там какому-то Пайпсу!) "Это верно, что какой-то Карабанов (какой-то Карабанов — автор официального советского военного учебника), на которого ссылается Пайпс, критикует как вымысел буржуазной пропаганды тезис, согласно которому человечество — а не только капитализм — исчезнет в результате ядерной войны. Однако я не вижу никакого основания считать неизвестного мне Карабанова более авторитетным источником, чем Брежнев, который не позднее 1978 году публично повторил эту буржуазную пропаганду, по каким-то причинам выразив свое личное мнение, что ядерная война уничтожит все человечество".¹⁵ Ну, раз Брежнев сам сказал, то тут уж некуда. Тут уж пристыженному Пайпсу просто бежать без оглядки надо и не показываться больше на глаза порядочным ученым вроде Янова.

А игривость Янова все нарастает и нарастает. "Давайте подумаем, — во всю уже резвится борец за разрядку, — что произойдет, если (не дай Бог!) будет реализован в какой-то мере сценарий Карабанова и Пайпса (!!!)".

Озорник Янов, по своей привычке профессионального советского пропагандиста, забывает почему-то упомянуть, что помимо какого-то Карабанова-Шмарабанова, Пайпс процитировал почти всех ведущих советских военных, включая Гречко, Соколовского и других. Это, конечно, Янов решил не упоминать. А зачем? Так еще ведь и в "Молодом коммунисте" учили писать. Так смешнее будет. Вот публика посмеется! Сценарий Карабанова-Пайпса!

Янов прикидывается, будто не знает, что официальные речи советских лидеров являются в значительной степени экспортным продуктом, так же как речи Арбатова и других бывших и нынешних сотруд-

ников Института США. Это все равно, что принимать за чистую монету утверждения Брежнева о советском миролюбии и о невмешательстве в дела других стран, об агрессивности США и т. п. Почему, правда, если верить в одном, не поверить в другом?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хватит. Хватит, хватит Янова. Это не борьба с идеологией и уж никак не научный спор. Никакой идеологии, никаких взглядов у Янова отродясь не бывало. Его защита русского национализма, его же нападки на тот же русский национализм всегда и всюду имели одну и ту же основу: полную беспринципность, а стало быть он как литературное явление, как общественное явление просто не существует. Такого литератора как Янов нет, а есть безликий услужливый журналист, растративший свой несомненный талант.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. А. Yanov. *The Russian New Right*, стр. 133.
2. Там же, стр. 73.
3. А. Иванов был вновь арестован несколько лет назад, уже после написания этой статьи.
4. *The Russian New Right*, стр. 20.
5. Там же, стр. 4.
6. Там же.
7. John Dunlop. *The New Russian Revolutionaries*. 1976.
8. *The Russian New Right*, стр. 35.
9. Там же, стр. 111—112.
10. А. Lichtenstein. *Judaism*, 1963, No. 3.
11. P. Avrich. *Interrogations*. 1974, No. 1.
12. "Август 1914 года читают на родине". ИМКА-пресс, 1973.
13. "Новый журнал", № 118, 1975.
14. "Commentary," No. 7, 1977.
15. *The Russian New Right*, стр. 149-50.

СОЛЖЕНИЦЫН И ЕГО КРИТИКИ*

Бесконечны споры нашей эмиграции. До хрипоты в горле. До ссор между вчерашними друзьями. До взаимных обвинений в азефстве. Потоки полемических статей разливаются по страницам газет и журналов, разделяя многочисленных авторов на не менее многочисленные фракции. Противоречия принципиальные вдруг переходят в личную вражду, и уже заслоняют собой те изначальные разногласия, ради которых был начат спор. Дробятся редакции. Множатся газеты и журналы. Но ни один печатный орган от этого не становится профессиональнее.

Всех нас объединяет одно — опыт жизни в СССР. Парадоксально, что этот опыт осмысливается во многом по-разному. Но о чем же спорим мы, бывшие узники советской власти, вырвавшиеся, либо высланные на Запад? Об объединении сил для борьбы с Советами? О предотвращении распространения коммунизма? Нет, об этом — крайне редко. Чаще...

Так бывало уже не раз в русской истории, что люди, более других пострадавшие за Россию, лучше всех нас ее понимающие и знающие, ощущающие свое причастие к русской истории, культуре, языку и народу, более других для России и ее народа с д е л а в ш и е, — становятся объектом наирезчайших нападок самых различных политических групп и течений. Я, безусловно, имею в виду ту постоянную критику, которой в последние годы подвергают Александра Исаевича Солженицына. Отнести ли это к закоренелому пороку — не прощать другим их гениальности — или к действительным политическим разногласиям?

Лишь только приземлившись в венском аэропорту, вчерашние советские граждане, всю жизнь прожившие под коммунистическим гнетом, вдруг обнаруживают главную опасность, грозящую человечеству, не в удушливой классовой теории Маркса, но в А. Солженицыне. Увы, дискуссии о великом русском писателе не относятся к тем спорам, в которых рождается истина. Здесь очень многое зависит от позиции и

не может быть доказано с математической точностью. А позиции уже определены. Переубедить, как правило, можно только читателей, но не авторов самих статей. Спор, собственно ведется не об А. Солженицыне. Спор идет о настоящем и будущем социализма. В современном мире А. Солженицын стал одним из немногих выдающихся людей времени,

* В основу данной статьи положена статья "Открытое письмо четырем публицистам", ж-л "Континент", № 33, 1982 г. и брошюра "Солженицын и социалисты", США, 1983 г.

принявших вызов, брошенный социалистами всему человечеству. Именно это и ничто больше лежит в основе разногласий А. Солженицына и его оппонентов.¹ И поэтому, как правило, социалисты критикуют А. Солженицына не за конкретные его высказывания, а за *любые* его мысли.

* * *

Многие из критиков А. Солженицына давно переступили те дозволенные рамки полемики, в которых цивилизованные люди способны вести профессиональный спор. В потоках выпадов, ругани и передергиваний уже не хватает места ни человеческим аргументам, ни обычной интеллигентности. Абсурд следует за абсурдом. Только наша всеядная эмигрантская пресса, в которой свобода слова часто заменяется отсутствием редакторов (по финансовым соображениям), и многие статьи, а то и книги, идут в набор не читанными никем, кроме их создателей, может выдержать до изумления простое утверждение, что А. Солженицын — не в своем уме, в примитивном и прямом смысле этого слова. В. Белоцерковский пишет:

Вывод однозначен: перед нами *п о м р а ч е н и е* *р а с с у д к а*. Солженицын... не выдержал удара абсолютной славы. Рассудок человека, вероятно, не способен, как правило, выдерживать такой абсолютной славы, как и абсолютной власти, всегда связанной со славой, пускай, и возвращенной на лести. (Слабые умом и духом могут потерять рассудок и от ограниченной славы и власти, как и от неожиданного богатства)... Безумие в этом случае облекается в яркую завораживающую форму и перемешивается с элементами подлинного провидения. Видимо, помрачение рассудка ослабило моральные тормоза у Солженицына и выпустило его злые чувства из подсознания, где они сформировались в ранний период его жизни под воздействием каких-то обстоятельств. Говоря здесь о помрачении рассудка, я имею в виду *н а в е д е н н о е* (славой или властью), а не патологическое расстройство. Имею в виду расстройство, которое нельзя с точки зрения медицинской и юридической классифицировать как невменяемое состояние... Однако мы должны помнить при этом, что наведенное безумие (славой и властью) объективно опаснее для общества, нежели патологическое.

О нет, это не медицинское заключение из института имени Сербского в Москве. Это статья, опубликованная в США, в газете "Новый американец".² В ней дано еще и параллельное сравнение А. Солженицына с "безумцами" и "маньяками" Сталиным и Гитлером. Бумага все терпит. Что можно возразить на такое "обвинение"? Глупо и унижительно доказывать, что А. Солженицын рассудка не терял. Впрочем, все это не ново.

Сумасшедшими объявляли и Чаадаева, и Жореса Медведева (А. Солженицын выступил тогда в защиту последнего).³

Другой оппонент А. Солженицына, Б. Шрагин, делает из А. Солженицына какого-то средневекового мракобеса, пишет, что А. Солженицын "распространил понятие "образованщины" на всех образованных людей вообще. Образование, знание превратились в его интерпретации в отрицательный атрибут, стало как бы синонимом лакейства".⁴ И поскольку ничего похожего А. Солженицын не говорил, Б. Шрагин не утруждает себя и доказательствами. Критикуя А. Солженицына, не забывают и о В. Максимове. О В. Максимове, правда, не говорят, что у него "помутнение рассудка", — было бы слишком подозрительно, если бы и у него "тоже", — но, оказывается, что "при внимательном взгляде на характер и стиль его деятельности на ум приходят образы Нечаева, Азефа, Кочетова..." И опять — что здесь возразить? Мало ли что кому может "прийти на ум". Только в Советском Союзе мы возмущались клеветой. А в эмиграции В. Белоцерковский позволяет себе сравнивать В. Максимова с убийцей-революционером, агентом охраны и партийным черносотенцем.

Займствовав у большевиков ленинскую фразеологию, В. Белоцерковский и спорить не может иначе, как используя шаблонные партийные формулировки типа: "зловещие качества новых вождей", "люди крайнего типа", "очень недобрых и опасных у власти людей"... Непосвященный подумал бы, что речь идет не о двух русских писателях — А. Солженицыне и В. Максимове, но о партийных деятелях, уже стоящих у власти. И все это под жалобы, что лишь "единицы" решаются "выступить с критикой того же Максимова, как и Солженицына. Но при этом и они боятся назвать вещи своими именами". Но никакими "именами" "вещи" вообще не называются. Почти всегда это одна только ругань. Либо же вдруг всплывает ложное утверждение, будто Максимов и Солженицын "приобретают реальную власть (в эмиграции это пресса, фонды...)". Но А. Солженицын "своих" журналов вообще не выпускает. А власть В. Максимова в "Континенте" не больше и не меньше власти любого редактора любого органа печати.

Должное быть отнесенным на их собственный счет критики А. Солженицына почему-то перекидывают на оппонентов. В. Белоцерковский пишет:

...у нас нетерпимость произрастает главным образом все из той же всесокрушающей завистливости и опустошенности... Это нетерпимость не к иным взглядам, а ко взглядам (любим) иных людей.

Это действительно так. Когда А. Солженицын подверг критике работу американской радиостанции "Голос Америки", его немедленно обругали в ответ. Но вот Михайло Михайлов согласился с тем, что "за-

мечательно верна критика Солженицыным передач "Голоса Америки", причем, "если бы Солженицын слушал передачи "Голоса Америки" на Югославию, то он бы мог намного резче осудить бездарное использование самого могучего средства, которое находится в руках Соединенных Штатов для того, чтобы установить взаимопонимание и даже союз с угнетенными народами".⁵ И, конечно же, никому в голову не пришло критиковать М. Михайлова за "кампанию, начатую журналом "Континент" по указанию или с одобрения Солженицына".⁶

Но самый яркий пример был продемонстрирован совсем недавно. Несколько лет назад в своей Гарвардской речи А. Солженицын напомнил американцам, что их государственные служащие и журналисты могли бы добровольно взять на себя и еще одно обязательство: не выдавать открытых им государственных секретов. И свобода слова ни в чем не пострадала бы от этого. Критики А. Солженицына и в этом усмотрели ограничение абстрактного понятия "свобода". Но несколько месяцев назад президент Соединенных Штатов Рональд Рейган сделал первый шаг к реализации сказанного А. Солженицыным: запретил правительственным служащим выбалтывать государственные секреты в интервью прессе. Никто не удивился указанию американского президента. Лишь спрашивали: "Не запоздала ли акция? Почему же раньше не ввели запрещение?"

Кроме открытой критики всего, о чем говорит или пишет А. Солженицын, в спорах с ним его оппоненты используют и прием подтасовки. Б. Шрагин, например, в одной из своих статей сначала дает интервью с "полной дамой из Одессы", проживающей в Нью-Йорке, а затем пишет: "На Западе "слишком много свободы" и на вкус скромной еврейки из Одессы, согласно инвективам русского патриота, всемирно прославленного творца 'Архипелага ГУЛага'."⁷ Предполагается, естественно, что читатели проведут прямую параллель: недалекая "скромная еврейка из Одессы" начиталась Солженицына и теперь утверждает, что на Западе слишком много свободы. Как будто не ясно из интервью, что "полная дама из Одессы" А. Солженицына вообще не читала. Здесь, конечно же, и слоновьей тонкости ирония: "всемирно прославленный творец", и попытка убедить читателей, что на А. Солженицына, мол, и внимания теперь уже никто не обращает, и вам, дескать, не стоит:⁸

Быстро растратив свою необыкновенную славу и авторитет, А. И. Солженицын успел стать на Западе одиозной фигурой. Его периодические выступления давно перестали восприниматься как откровения и едва ли когда-либо вновь появятся на первых полосах газет...

И все эти выпады против А. Солженицына делаются не больше и не меньше, как под лозунгом защиты демократии. Тот же Б. Шрагин пишет:

“Навряд ли Лев Толстой был “зеркалом русской революции”. Но что А. Солженицын — зеркало русской антидемократии, это очевидно... Давайте, господа антидемократы, выложим наши карты на стол!”⁹

Давайте. Но сначала откажемся от вешания пустых ярлыков с яркими надписями.

Многие из критиков А. Солженицына ратуют за “буржуазную демократию” не потому, что они “буржуазные демократы”. Ни в коем случае. Просто, будучи с о ц и а л и с т а м и, пусть и “демократически”, — нашими меньшевиками — они поняли, как легко можно использовать доверчивую и незащитную демократическую систему в своих интересах. Любовь некоторых социалистических критиков А. Солженицына к демократии — не любовь к демократии как таковой, а к ее слабости, через которую социалисты вполне легально и мирно намерены протопать к очаровательному социализму. Вот что пишет Белоцерковский:¹⁰

Сахаров считает, что революции производят такие разрушения во всех сферах жизни, что это не оправдывает даже самые благие их объективные цели. Но нельзя отрицать тот факт, что революции или сокрушительные войны и нашествия, выполнявшие их роль (роль “повивальной бабки” по Марксу), были одной из главных движущих сил истории... Сегодня мы — приверженцы демократического социализма — должны были сделать следующий вывод... Всем сторонникам социализма и прежде всего еврокоммунистам надо вслед за первым шагом — утверждением, что при современной демократии можно прийти к социализму мирным путем, сделать второй шаг: признать и понять, что к социализму вообще можно прийти только мирным путем!

...Откроется, наконец, реальная возможность и для реформистского единственно возможного пути к свершению социалистической “эволюционной революции”, к построению общества социалистического самоуправления. Можно сказать, что здесь мы приходим к новой трактовке теории “перманентной революции”...

А Лев Копелев доказывает нам, что “самые суровые меры пресечения” вызывают в СССР не что иное, как “попытки всерьез заняться проблемами марксизма, и особенно — попытки исследовать историю и современное состояние страны с помощью марксистских методов социально-критического анализа экономики и общественных отношений... Так что, если и можно говорить о наличии в нашей стране одной господствующей идеологии, то к марксизму и ленинизму она примерно так же близка, как сектантские толки... к учению апостолов...”¹¹

Да, действительно, по-разному осмысливают люди опыт жизни в Советском Союзе. И полярно противоположен их подход к западному обществу. А. Солженицын хочет видеть демократию сильную и разумную, демократию, способную а к т и в н о, а не пассивно противостоять сво-

ему главному врагу — коммунизму. А социалистические оппоненты А. Солженицына смотрят на демократию как на своеобразный переходный период, за который активисты-леваки при пассивности центра сумеют обработать население мозги до такой степени, что оно добровольно сунет свои головы в петлю социализма. "Демократическим социалистам" кажется главным, чтоб считалось, что "без кровопролития", мирным путем, а еще лучше — парламентским. А ведь по существу должно быть абсолютно все равно, придут ли итальянские коммунисты к власти легально или нелегально. Главное, чтоб они к ней вообще не пришли. И волю большинства, голосующего за коммунистическое правительство по все равно каким причинам, трудно признать для себя законной, как трудно признать законной и волю большинства, голосующего за правительство фашистское.

Критикующие А. Солженицына за "антидемократизм" или "антизападную пропаганду" часто сами выступают с явно "недемократическими" предложениями. Б. Шрагин, вслед за М. Михайловым, допускает мысль о том, что со стороны американцев было бы оправданным запретить эмигрантам из СССР, придерживающимся "антидемократических взглядов", въезд в США, точно так же, как американцы "это делают относительно фашистов и коммунистов, то есть людей, политические убеждения которых несовместимы с американской Конституцией".¹² Впрочем, Б. Шрагин забывает упомянуть, что как раз коммунистов, точнее — бывших коммунистов, людей, покинувших ряды КПСС перед подачей документов на выезд из СССР, американское правительство в США впускает практически беспрепятственно.

Демократом не является и В. Белоцерковский, обвиняющий А. Солженицына с одной стороны, "либералов" — с другой.¹³ Один из ведущих диссидентов в эмиграции, В. Чалидзе, предлагает не больше не меньше, как запретить А. Солженицыну выступать по радио "Свобода",¹⁴ т. е. использовать против А. Солженицына средства явно не демократические. Л. Алексеева "рекомендует 'Радио Свобода' уменьшить время, посвященное православию, популярному среди русских националистов", а также "время, посвященное Солженицыну... Радио должно посвящать Солженицыну меньше времени".¹⁵

И все-таки нельзя не повторить еще раз: обращая внимание на слабые стороны демократии Запада, А. Солженицын способствует ее оздоровлению, а не гибели.

"Еще не рухнувший Запад..."¹⁶ Эти горькие слова правды как нельзя лучше отображают трагизм сегодняшней ситуации. В чем упрекают А. Солженицына здесь? Где видят "антизападную пропаганду в эмигрантской прессе"? Если, согласно проведенному в Западной Европе опросу общественного мнения, п о д а в л я ю щ е е б о л ь ш и н с т -

во опрошенных предпочитает советскую оккупацию войне за независимость — да! ЕЩЕ НЕ РУХНУВШИЙ ЗАПАД! Если могущественная держава — Соединенные Штаты — житница всего земного шара, индустриальная громада, способная снабдить своими товарами не только собственное население, но и многочисленных соседей, далеких и близких, — если страна с развитой наукой и наибольшим числом Нобелевских лауреатов, государство, самое демократичное из всех, когда-либо существовавших, не в силах противостоять военной мощи международного разбойника — Советского Союза, население которого никогда не ело досыта и лишено не только элементарных человеческих прав, но и примитивных предметов широкого потребления, — да, ЕЩЕ НЕ РУХНУВШИЙ ЗАПАД в величайшем унижении уступает советскому шантажу, возведенному в рамки государственной политики.

Казалось, к этой точке зрения могли бы присоединиться многие критики А. Солженицына, а на деле с ней солидаризируется только М. Михайлов: "Нельзя не согласиться с Солженицыным в том, что политика западных демократий в отношении тоталитаризма чаще всего вызывает один лишь пессимизм у вдумчивого наблюдателя".¹⁷ И это заявление М. Михайлова у оппонентов А. Солженицына никаких возражений не вызывает. Но высказывания самого А. Солженицына критике всегда подвергаются. Так, "антизападной" объявлена речь А. Солженицына в Гарварде. О ней пишет и В. Чалидзе:¹⁸

Описание западной демократии и свободы подменяется карикатурой, с детства знакомой по советским газетам. Что же скажут те в России, кто не верил этому газетному бреду? Скажут: "Наверное, правда, вот и Солженицын говорит..." ...Вся страсть его речей о Западе обращена к людям в России, и призыв в них один: не следуйте Западу, его демократии, его свободе, его разврату, не следуйте всему, что отвращает ваши души от чего-то расплывчатого, но истинного, высокого, русского...

Между тем, в речи А. Солженицына не было карикатур, но — правда, пусть не всегда приятная для слуха американцев. Его страстные речи, основанные на глубоком понимании психологии коммунистических лидеров и западных правительств, имели своей целью в который раз обратить внимание западной общественности, столь чуткой во многих других случаях, на ту давно надетую на шею Западу петлю, которую только осталось, что — затянуть.¹⁹

В каждом выступлении А. Солженицына на Западе, опубликованном на английском (и лишь затем на русском), в каждом его интервью западному телевидению оппоненты А. Солженицына почему-то видят не естественное желание писателя высказать Западу свое мнение об острейших мировых проблемах, но тайный "пропагандистский маневр"

на Россию: "не берите с них пример".²⁰ Неужели критики А. Солженицына действительно думают, что русскому писателю нужен посредник в общении со своим народом? Если, как пишет В. Чалидзе, основную угрозу России А. Солженицын видит во вредном влиянии Запада, что мешает ему открыто сказать об этом своим соотечественникам? Кажется, уже никто не считает, что А. Солженицын боится критики. В разные периоды времени, в разных странах и разные лица называли его диссидентом, клеветником, отщепенцем, реакционером, предателем, монархистом, русским или обычным фашистом, антисемитом, националистом, шовинистом... Из всех терминов не использованным остался только один — коммунист. И вот В. Чалидзе хочет убедить читателей, что А. Солженицыну не хватает мужества, обратившись непосредственно к России, сказать о Западе правду. Не проще ли предположить, что сказанное Западу — к Западу же и обращено?

В. Чалидзе продолжает: "Другая тенденция (А. Солженицына — Ю. Ф.), также чтоб отвратить русских слушателей от Запада, — обвинение западных держав".²¹ В. Чалидзе идет на "признание моральной правоты Солженицына во многих его упреках Западу",²² но получается, что вина А. Солженицына и заключается как раз в том, что он говорит о Западе правду. В. Чалидзе пишет:²³

Конечно же, можно было бы эти о б о с н о в а н н ы е упреки выразить более связно и убедительно, но у него достаточно причин для страстности, страстности русского страдальца, помнящего, как на эту непомогшую Европу или Америку смотрели из России, из лагерей, и получали то, что воспринималось как предательство: и выдачу беженцев на добрение ГУЛагу, и лицемерные похвалы зверскому режиму, и глухоту к честным свидетельствам о страданиях людей.

Но, во-первых, многие его упреки морально справедливы лишь с точки зрения россиянина: они ждали, а им не помогли... Главный упрек — в теперешнем отступлении перед напором коммунизма в мире, в том числе упрек в том, что не поддерживает Запад антикоммунистические силы в СССР.

По существу, как вынужден признать даже В. Чалидзе, А. Солженицын в своих обвинениях Западу прав. Ведь "с точки зрения россиянина" — все упреки справедливы. А, кажется, А. Солженицына пригласили с речью в Гарвард именно как "россиянина", а не как турка или монгола. Но уж слишком хочется В. Чалидзе убедить читателей, что Солженицын "отвращает" "русских слушателей от Запада". И факт обвинений, признанных справедливыми самим В. Чалидзе, тот же В. Чалидзе вменяет А. Солженицыну в вину.

Впрочем, В. Чалидзе напрасно приписывает А. Солженицыну "упрек в том, что не поддерживает Запад антикоммунистические силы в

После моего первого выступления, как всегда в прессе бывают, были — поверхностные, в суть не вникающие комментарии. И один из них был такой: будто я приехал в Соединенные Штаты просить освобождать нас от коммунизма. Кто хоть сколько-нибудь следил за тем, что я писал и говорил много лет в Советском Союзе, а потом уже на Западе, тот знает: я всегда говорил противоположное. Я призывал моих соотечественников, тех, у кого в трудные моменты дрогнуло сердце, и они смотрели с мольбой на Запад, я призывал: не ждите помощи! И не просите помощи! Это нечестно. Мы должны стать сами на свои ноги. У Запада довольно своих забот без нас. Поддерживают нас — спасибо сердечное. Но просить, призывать — никогда.

И лишь об одном просил тогда А. Солженицын:²⁵

Зачем вы помогаете нашим рабовладельцам? Когда нас живьем закапывают в землю, пожалуйста, не подавайте лопаты могильщикам! Пожалуйста, не посылайте им современных землеройных машин!

Все недостатки западного общества, в том числе и уступки США "коммунистической экспансии",²⁶ В. Чалидзе считает следствием "плюрализма западного сообщества государств"²⁷ и "меньше всего" желает Западу, "чтоб он оказался Единым — это означало бы утрату многих ценностей западной цивилизации".²⁸ Неужели В. Чалидзе не понимает, что, разобщенный, Запад не выдержит изнурительной борьбы с тоталитарным коммунизмом и утратит свои ценности полностью? Погибнет вся западная цивилизация, и возродится ли вновь? НАТО и было создано для того, чтобы скоординировать х о т я б ы действия военного аппарата. Но и в военном отношении Запад не смог сохранить единство фронта. Уже вышла из НАТО Франция, население которой противилось американо-французскому сотрудничеству частью из-за пресловутого французского национализма, частью — из-за глубоко укоренившихся во Франции социалистических идей и вытекающего из них отрицательного отношения к "капиталистической" Америке. И время от времени какая-нибудь маленькая и слабощная страна, типа Греции, то входит в НАТО, то выходит из него, при каждом удобном случае шантажируя Америку, как будто речь идет не о безопасности Европы, но о самих США. И вот стекают лавиной организованные на темные деньги антиамериканские и "антиядерные" демонстрации: "Долой американские базы в Европе!". Не удивительно, что против американского правительства в вопросах о вооружении выступают не только леволиберальные американцы, но и некоторые оппоненты А. Солженицына.

В годы, когда военное превосходство Советского Союза становится все более и более очевидным, В. Чалидзе, например, призывает к отмене воинской повинности.²⁹

Я глубоко убежден, что правительства вправе пользоваться набором армии на основе воинской повинности лишь в случаях, когда необходима прямая военная защита территории страны. Во всех других случаях ведения войны, в том числе ведения войны как следствия политических обязательств, правительства должны использовать наемные войска или добровольцев. ...Я надеюсь, что когда-нибудь будет обращено внимание на бесправное положение военнотружущих, призванных на основе воинской повинности.

Это звучит очень гуманно и в унисон с беспечно-либеральным общественным мнением Запада. И автор предложения, вероятно, не подозревает, что внешне привлекательный проект об отмене воинской повинности в обязательном порядке потерпит такое же фиаско, как и пакт Келлога-Бриана, ибо в тоталитарных государствах "добровольная армия" будет все той же принудительной; в демократических же — эффективный патриотизм итальянцев не пойдет дальше футбольного матча.

По мудрому проекту В. Чалидзе все, что нам остается — поднять руки вверх и умереть "демократами". Короче, нам предлагают ни в чем не нарушать буквы демократии (например, не вводить все той же п р и н у д и т е л ь н о й воинской повинности), чтобы легче задушил нас тоталитаризм. А чтобы не глодали нас сомнения, что, может быть, зря мы расслабились, зря надеемся, что "пронесет", В. Чалидзе пишет: "...Власть в СССР... не только прочна, она г и б к а, и это значит, что под давлением обстоятельств она меняется и может становиться человечнее..."³⁰ Да более негибкого правительства, чем советское, — нет в сегодняшнем мире. Как же может В. Чалидзе бросаться столь безответственными и бездоказательными заявлениями? С чем он сравнивает "гибкость" Брежнева? С "гибкостью" Сталина? Так ведь и тот был по своему "гибок". Мог захватить всю Финляндию, а захватил только часть. И Хрущев был относительно "гибок": "убрал" еще не поставленные ядерные ракеты с Кубы в обмен на демонтаж американских ракетных установок в Турции.

Нежелание американского народа защищать себя от все возрастающей внешней угрозы нам также преподносится как что-то совсем естественное и понятное, вытекающее из всей двухвековой истории США. В. Чалидзе пишет:³¹

В американском сознании глубоко укоренена идея изоляционизма. Хорошо это или плохо, опасно или нет, эту идею не разрушишь сразу, тут и десяти пророков не хватит. Разве не помним,

что нужен был Пирл Харбор, чтобы убедить американский народ в необходимости вступления во Вторую мировую войну?

Но ведь это аргумент в пользу А. Солженицына. В век ядерных ракет зачем доводить до того, чтобы Советский Союз, окружив США со всех сторон, разместив ракеты на Кубе, нейтрализовав американских союзников в Европе, подготовив плацдармы в Африке и Азии, устроил американцам второй "Пирл Харбор"? Не поздно ли будет тогда начинать подготавливать общественное мнение, формировать армию, вооружаться? Конечно, поздно. Ведь современные программы вооружений рассчитываются на 10–20 лет вперед. Ни за день, ни даже за год изменить фактически ничего нельзя.

Для социалистов и либералов характерно и отрицательное отношение к американской войне во Вьетнаме. Вот что пишет по этому поводу В. Чалидзе:³²

Претензии Солженицына и многих других эмигрантских политиков касаются прекращения войны во Вьетнаме. ...Мы знаем о судьбе Южного Вьетнама, Камбоджи, беженцев. Какое отношение, однако, все это имеет к антивоенному движению в США, которое Солженицын считает предательством и признаком расслабления западных характеров? Я не вижу расслабления характеров в том, чтобы протестовать против угона молодых американцев на бойню на край света. Именно угона, ибо была введена воинская повинность. Я думаю, публика реагировала бы совсем иначе, если бы правительство вело эту войну наемными войсками. Для того, чтобы народ был готов проливать кровь за что-то, он должен понимать необходимость этого или зажечься героической истерией. Я рад, что вторая возможность не реализовалась. А понимания необходимости не было: значит, правительство не нашло достаточно убедительных аргументов.

В этом отрывке – либо обман, либо недодуманность. Прекращение войны во Вьетнаме было прямым результатом антивоенного движения в США. Тыл дезорганизовал и армию. Отказ от службы в армии из-за непопулярности вьетнамской войны стал повседневным явлением, а американские солдаты стыдились своего в ней участия не перед вьетнамцами, нет, а перед своими согражданами, прикрывающими высокими фразами обычное отсутствие мужества. Нет ничего более простого в Америке и Западной Европе, чем протестовать против собственного правительства. В. Чалидзе, проживший в США более десяти лет, должен прекрасно знать, что протестующий против правительства ничем не рискует. "Расслабление западных характеров" как раз и было в том, что вместо поддержки своего правительства, кстати говоря, выбранного на основах демократических – голосованием, американцы

протестовали против войны, ведущейся против самого главного врага Америки — мирового коммунизма. Вьетнам — не такой уж “край света”, каким представляет его себе В. Чалидзе. В век ядерных вооружений нет уже более земель отдаленных. И миллионам вьетнамцев и камбоджийцев, погибшим после “мирного объединения” Вьетнама и установления там единого коммунистического правительства, вьетнамская война показалась бы сейчас лучше того “мира”, который свалился им на головы. (Доказательство — сотни тысяч беглецов, гибнущих в океане.)

Можно было бы поверить в искренность американских антивоенных лидеров, если бы с тем же усердием сегодня они выступали против коммунистического геноцида во Вьетнаме и Камбодже. Но что-то не слышно их возмущения. Да и сам В. Чалидзе, кажется, соглашается, что речь шла не о моральных принципах, а об обычном страхе за собственную жизнь, если пишет, что на войну, ведущуюся наемными войсками, американцы реагировали бы иначе.

Следует указать еще и на то, что нет ничего более унижительного для уважающей себя нации, чем наемные отряды иностранцев, сражающихся за интересы беспечных граждан. Да и из истории нам известно: наемники, воюющие за деньги, никогда не были хорошими солдатами, лишь — жестокими.

Легко живущему в 1980-е годы в Америке В. Чалидзе писать с небрежностью: “зажечься героической истерией”. Ведь с той же “истерией” Европа воевала против фашизма, США — с Японией, Израиль — с арабами, Англия — на Фоклендских островах. Да если бы зимой 1939—40 года не зажглись бы “героической истерией” финны — не было бы Финляндии. И венгры в 1956 — тоже “зажглись героической истерией”. Трудно согласиться и с тезисом В. Чалидзе о том, что непонимание необходимости продолжения вьетнамской войны было прямым результатом отсутствия “убедительных аргументов” в пользу ее ведения. Правительство США не “не нашло” таких аргументов. Правительство не сформулировало их. Не против Северного Вьетнама воевали Соединенные Штаты, но против распространения коммунизма. Объяснить это американцам и Западу, раскрыть им глаза, пока не поздно — вот задача любого здравомыслящего человека.

История всегда оставляла нам время на обдумывание и принятие решений. Уже по крайней мере 65 лет бомбы, подложенные под все цивилизованное человечество, беспрепятственно откалывают куски ЕЩЕ НЕ РУХНУВШЕГО ЗАПАДА. Если бы в ноябре 1917 года незадачливым американским политическим деятелям сообщили, что не пройдет и 45 лет, как ныне издыхающая от голода Советская Россия приберет к рукам Кубу, они улыбнулись бы такому пророчеству, оставив его без ответа. Еще не взорвались те бомбы в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Бонне. Но будьте уверены, они взорвутся, если не будут вовремя обезврежены.

Все то же желание во всем быть против А. Солженицына часто при-

водит его оппонентов к грубым неточностям, В. Чалидзе, например, пишет: ³³

Улыбка судьбы — именно ненавистные Солженицыну либеральные силы пытаются убедить американцев в запоздалости их изоляционизма, в необходимости большей политической активности в мире, в том числе и в необходимости печься об обеспечении прав человека в других странах.

Вот так и представляется заявление А. Солженицына: “Ненавистные мне либеральные силы...” Где и когда заявлял он подобное? И с каких это пор либералы выступают за большую американскую активность в мировой политике? Уж не сенатор ли Э. Кеннеди, нанеший своему народу удар в спину во время иранского кризиса и захвата заложников? И если по своим корыстным соображениям политика, рвущегося в президенты США, Кеннеди “печется” — автор выбрал очень удачное слово — об обеспечении прав человека в других странах, нельзя ли, хотя бы по тем же соображениям, побеспокоиться обо в с е х у г н е т е н н ы х н а р о д а х коммунистических государств и об обороноспособности своей страны?

Почему-то считается, что интерес к правам человека — совершенно новое явление, что “классический принцип государственного суверенитета” требовал “полного безразличия к внутренним делам международных партнеров”.³⁴ Здесь опять же и желание быть против А. Солженицына, не уделяющего борьбе за права отдельной личности первостепенного значения. Но, с другой стороны, вопрос этот не риторический, а принципиально важный. Если интерес к правам человека и все, что мы называем “правозащитным движением”, — явление второй половины двадцатого столетия, если некоторая либерализация советского режима после смерти Сталина — заслуга наших диссидентов, — тогда имеет под собой основание и теория оппонентов А. Солженицына, согласно которой Россия придет к своей свободе, а мир — к “планетарицизму”, демократическому бесклассовому интернационализму — через правозащитное движение, через борьбу за права каждой отдельной личности. И вот при внимательном взгляде на историю выясняется, что интерес к правам человека был присущ и девятнадцатому, и первой половине двадцатого века. Размеры этой работы не позволяют мне сделать детальный экскурс в прошлое, но я напому примеры слишком знакомые, чтобы их отклонить: протесты против геноцида армян, еврейских погромов, дел Дрейфуса и Бейлиса и массовых расстрелов рабочих, например, на Ленских приисках. Можно указать и на то, что симпатии Запада к восставшим в 1830 и 1863 годах полякам во многом сходны с сегодняшним сочувствием к ним; что протесты против вынесения смертных приговоров Сакко и Ванцетти и супругам Розенберг

(1953), конечно, превзошли бы по силе возмущение ссылкой А. Сахарова, арестом А. Щаранского, фактическим убийством Ю. Галанского. Или, может быть, выдача Розенбергами американских секретов Советскому Союзу чем-то отличалась от передачи О. Пеньковским советских секретов США? Лозунг же "Не вмешивайтесь в наши внутренние дела!" — детище советского правительства и двадцатого века — для того и был введен Союзом, чтобы на "законном" основании творить беззаконие в собственной стране, над собственным народом. Это, конечно, не значит, что нужно отрицать заслуги движения за права человека в Советском Союзе. Международное движение, безусловно, окрепло, когда услышало голоса протеста, доносившиеся из самой России. Но все это не значит, что постсталинским ходом своего развития Россия обязана правозащитному движению и диссидентам. В. Чалидзе пишет: "Мы в правозащитном движении прошли эту школу безнадежности. Мы действовали, не видя впереди успеха, зная, что если и можно чего-то ждать, то лишь очень медленных сдвигов..."³⁵ Как раз наоборот. В действительно безнадежные для советских людей годы — до 1956 — правозащитного движения фактически не существовало. Оно явилось следствием ряда внешних толчков, таких, как восстания в Венгрии в 1956 и в Чехословакии в 1968 годах, образование Израиля с последовавшими арабо-израильскими войнами, приведшими к росту сионизма в СССР;³⁶ и явлений внутренних, важнейшими из которых можно назвать XX и XXII съезды партии и "разоблачение культа личности" Н. Хрущевым; возрождение, пусть частичное, русской литературы, появление, например, банального по сегодняшним понятиям романа Дудинцева; публикация "Доктора Живаго" за границей (и автора оставили на свободе! — для СССР тех лет — невероятно); выход в свет "Одного дня Ивана Денисовича"; дело Синявского и Даниэля; самиздат, окрепший с появлением романов А. Солженицына; и лишь затем — движение за права человека под лозунгом "Уважайте вашу Конституцию!"

Правозащитное движение было одним из внешних проявлений целого ряда сложнейших глубинных процессов в России. В. Чалидзе же, проецируя борьбу за права человека на первый план, как бы утверждает, что именно с нее и началось возрождение России и Восточной Европы после смерти Сталина. Нет, не с нее. В. Чалидзе между тем пишет:³⁷

...Еще в конце 60-х годов практически никакого влияния на политику идея международной защиты прав человека не имела. Выход этой идеи в политику я отношу за счет международного влияния советского, а з а т е м и восточно-европейского правозащитного движения... Именно наше движение в последние 10 лет породило м е ж д у н а р о д н о е д в и ж е н и е в защиту прав человека в

Восточной Европе с вытекающим отсюда давлением людей на свои правительства.

То есть не венгерские и чешские события породили правозащитное движение в Восточной Европе и СССР, но советское правозащитное движение породило правозащитное движение в Восточной Европе.

Спроецировав борьбу за права человека на передний план, В. Чалидзе переходит и к следующему своему обвинению: А. Солженицын “резко выступает против идеи прав человека в том ее виде, как она сформулирована цивилизацией”.³⁸ Это обвинение — намеренное передергивание. Просто в стране, где у народа не выработано чувство правосознания, борьба за права личности не может считаться первостепенной задачей.

В. Чалидзе упрекает А. Солженицына и за высказанное им в сборнике “Из-под глыб” скептическое отношение к “идее прав человека”.³⁹ Не к идее — в сборнике “Из-под глыб” об этом ничего нет, — но к самому движению, его силе и перспективам развития, а это совсем другое. В. Чалидзе обвиняет А. Солженицына, но не дает ни единой фразы в подтверждение своих доводов. В лучшем случае — ссылается на безымянных “последователей”, да и из их статей приводит без ссылок на источник лишь одну неполную фразу: “Вот пример: мысль о примате личных прав при туманном представлении внутренних обязанностей названа “антиобщественной установкой”. Знакомая формула!”⁴⁰ Неужели В. Чалидзе допускает, что читатель примет это безымянное, вырванное из контекста и потому ничего не значащее высказывание как веское доказательство в споре с А. Солженицыным? И разве вяжется это со сказанным тем же В. Чалидзе четырьмя страницами раньше: “Хотя на права человека у А. Солженицына взгляд особый, но и он, и многие в России и эмиграции недовольны пассивностью американского интереса к нарушению прав в СССР”.⁴¹

Критикуют А. Солженицына и за “карикатурное изображение” американской прессы: “Пресса — главный враг рода человеческого, предтеча антихриста...”⁴² Эта фраза принадлежит не А. Солженицыну, но самому В. Чалидзе. Он опять передернул мысли А. Солженицына. Если было сказано именно так, почему же не поставить кавычки и не привести дословную цитату? А. Солженицын никогда не говорил ничего похожего. В который раз В. Чалидзе заставляет читателя догадываться о степени приближенности своей гиперболы к оригиналу.

Из общего хора статей, критикующих Гарвардскую речь А. Солженицына, не многим выделяется и следующее высказывание В. Чалидзе, с которым я вынужден не согласиться:⁴³

“Вестник русского христианского движения” № 128 поместил обзор отзывов на Гарвардскую речь Солженицына. Сказано: “Речь

всколыхнула всю страну..." Ну, "всколыхнула" — это дань растущему культу личности Солженицына, но, правда, речь поразила многих. И поразила потому, что американцы поспешили провозгласить Солженицына символом борьбы за свободу. Теперь же видно, что он годится лишь в символы борьбы за свободу от коммунизма, но никак не за свободу вообще.

У читателей и слушателей могут быть различные мнения по одному и тому же вопросу. В Чалидзе не был в Гарварде, когда А. Солженицын произносил свою речь. Где-то в середине ее начался дождик. Но никто не встал, не ушел.⁴⁴ Все молча слушали. Время от времени раздавались аплодисменты. И в самом начале речи кем-то из русских эмигрантов уже был поднят в воздух заранее заготовленный ругательный плакат.

Думается, что Гарвардская речь А. Солженицына могла всколыхнуть Америку. Не всю, лишь мыслящую часть ее народа. И если автор статьи в "Вестнике...", применив стандартный журналистский прием, приписал всем американцам свое собственное ощущение, нужно ли видеть в этом "дань растущему культу личности Солженицына"? Разве резанула бы нам слух фраза: "Высылка А. Д. Сахарова в Горький взволновала всю мировую общественность!?" Наверное — нет.

А. Солженицын, действительно, не борется "за свободу вообще" (а что такое свобода вообще? Свобода по Полю Сартру?). А. Солженицын делится опытом коммунизма. Только в сегодняшнем мире, где коммунизм является врагом номер один, борьба за свободу от коммунизма и есть борьба за свободу. Впрочем, это опять вопрос позиции.

В. Чалидзе критикует А. Солженицына и за то, что его "политическая цель", как он это называет, "показать ядовитость марксизма, то, что он всегда придет к концентрационным лагерям".⁴⁵ Контраргумент В. Чалидзе: "одна ссылка на практику нынешнего коммунизма и его зверства не может опровергнуть теории Маркса".⁴⁶ Но что же тогда вообще может опровергнуть теорию, если не практика? К тому же дело даже не в том, что "хорошая" теория была "испорчена" практикой. Экономическая теория Маркса опровергнута уже и теоретически, и практически, в то время как его политические теории коммунизма подразумевали именно то, что на практике построили Ленин, Сталин, Мао Цзе-дун и Кастро.

Неужели после того, как концентрационные лагеря растеклись не только по просторам СССР, но и всех без исключения коммунистических стран, правомерно поднимать детский вопрос о теории и практике коммунизма? По В. Чалидзе же получается, что мы, ко всему прочему, должны быть благодарны Марксу и Энгельсу за то, что для

нас была сформулирована теория, под которую нас же и похоронят:47

Когда Маркс и Энгельс писали свой "Манифест", "призрак коммунизма действительно бродил по Европе. Никому не было ясно, что это за призрак, в какие одежды он готов одеться. Отвлечемся от симпатий Маркса и Энгельса и признаем ценным то, что они этот призрак описали и показали одним, чего можно желать, другим — чего надо опасаться. Они не изобрели, не придумали этот призрак... Взрыв мог произойти и без пропаганды марксизма.

В школе и в институтах в Советском Союзе все мы "изучали" работу Ленина "Три источника и три составные части марксизма" и навсегда запомнили, что марксизм — продукт исключительно западный, и в фундаменте его лежит английская политическая экономия, немецкая философия и французский социализм. Но когда эту известную каждому из нас прописную истину повторяет А. Солженицын, стремящийся доказать американским специалистам по СССР, что истоки советского коммунизма следует искать в марксизме, а не в Российских Уложениях о Наказаниях 1845 года, на А. Солженицына обрушиваются потоки несправедливой критики и обвиняют в "антизападной пропаганде".

Подвергается критике и взгляд А. Солженицына на февральскую революцию, изложенной им в одном из интервью Би-Би-Си. А. Солженицын, в частности, говорил: 48

Либерально-социалистические тогдашние правители промотали Россию в полгода, до полного упадка... Так что не только не было никакой Октябрьской революции — но даже не было и настоящего переворота. Февраль упал сам... Я понял, что несчастный опыт февраля, вот его осознание — это и есть самое нужное сейчас нашему народу.

Разбирая данную цитату, В. Чалидзе по существу проблемы не говорит ни слова, вместо этого он опять вязнет в натяжках. В. Чалидзе пишет: "Вот они, лозунги: все беды от Республики, от демократии; не стремитесь к ним, не поддавайтесь на обман отравленных Западом либералов. А кто либералы? — Те, кто говорит о праве и о правах!"49

И это все, что В. Чалидзе усмотрел в попытке писателя осознать

опыт февральской революции. Мне всегда казалось, что так цитаты "разбирают" только в советской прессе. Сопоставив цитату из интервью и разбор, сделанный В. Чалидзе, мы без труда заметим, что А. Солженицын ни слова не говорит ни о Западе, ни о демократии, ни о правах, к которым В. Чалидзе постоянно сводит свои размышления. В русской исторической науке сформулированный А. Солженицыным вопрос является одним из сложнейших. То, что не было октябрьской революцией, а лишь переворот, свержение большевиками Временного правительства — в этом сегодня мало кто сомневается. В первые послереволюционные годы события октября 1917 года революцией не называли даже сами большевики, в том числе Ленин с Троцким.⁵⁰ Лишь несколько позже начали создаваться легенды о несуществующем сигнальном выстреле "Авроры" и "штурме" Зимнего дворца, во время которого погибло лишь шесть человек.⁵¹ И если не осталось ни одной преданной части, решившей защищать социалистическое правительство, если почти никто из охранявших в эту ночь Зимний дворец не погиб в перестрелке с большевиками, разве не означает это, что "февраль упал сам"? А если упал сам и так быстро, пройдя за восемь революционных месяцев путь от правительства кадетского к правительству эсеровскому, то не потому ли, что страна в целом не была готова к демократии западного типа? Как пишет тот же В. Чалидзе, "у подавляющего большинства народа нет представления о том, возможна ли другая власть, кроме той, которую они видят".⁵² Это — о сегодняшнем Советском Союзе. И невозможно предположить, что крестьянская Россия 1917 года приняла бы демократию легче, чем современная. События 1917 года как раз и показали, что она ее не приняла. Ни российские народы, ни политические партии не были готовы к выборам в Учредительное собрание, к демократическому строю и к участию в управлении страной.⁵³ Хрестоматийное заявление Ленина: "есть такая партия" — служит этому доказательством куда более серьезным, чем любые аргументы: за исключением большевиков, все политические партии России считали себя неподготовленными к взятию власти в свои руки. Ленин пошел именно тем путем, о котором писали Маркс и Энгельс: "В одно прекрасное утро наша партия благодаря беспомощности и вялости всех остальных партий вынуждена будет встать у власти"...

В. Чалидзе, вероятно, не станет отрицать, что Англия и Франция являются классическими образцами западной демократии. Но ведь почему-то, оставляя за собой право иметь демократические прави-

тельства, эти страны крайне медленно освобождали из-под своей опеки колониальные народы. Французы и англичане отчетливо понимали, что ни Индокитай, ни Африка не готовы нести на себе то бремя демократии, которое европейцы привезли туда в трюмах своих кораблей. И никто из нас никогда не смел обвинить Францию и Англию в ненависти к демократии, либерализму и "правам человека". Мы как бы знали, что зерна демократии не приживутся самостоятельно на целинных землях. Когда же, будто специально подтверждая нашу теорию, демократии бросали своих подопечных, вчера еще требовавшие свободы колониальные народы гибли в гражданских войнах, междоусобицах, геноцидах и правительственных переворотах. Будем ли мы отрицать, что и несчастье иранского народа сходно с трагедией русского? Посчитав режим шаха *н а и х у д ш и м*, они свергли его *с н а ч а л а*, чтобы *п о т о м* установить *л у ч ш и й* режим. Этот чужой пример покажется простым и убедительным даже В. Чалидзе. Он не упрекнет меня ни в ненависти к демократии, ни в преклонении перед шахом. Почему же трагедию российских народов критики А. Солженицына видят не столь отчетливо? Ведь когда А. Солженицын говорит: "Нельзя всю философию, всю деятельность сводить: дайте нам права! То есть — отпустите защемленную руку! Ну, отпустят, или вырвем. — А дальше?" — с ним не согласны. А ведь это — и об Иране, и об Африке, и об Индокитае, и о России, конечно.

Человек, достаточно образованный в области права, В. Чалидзе почему-то объясняет непонимание Западом сталинских репрессий какими-то психологическими причинами:⁵⁶

У меня впечатление, что бессмысленности сталинских репрессий 30-х годов иностранцы понять не могли. Было естественно считать, что репрессии — это ответ правительства на действительную внутреннюю политическую борьбу. Представить себе, что порабощение происходит без борьбы, здесь просто не могли. Поэтому так много людей здесь поверило, что действительно были заговоры, покушения и т. д., в том числе военный заговор Тухачевского.

Но В. Чалидзе здесь просто фантазирует. Для западного общества в принципе были дики какие-либо постоянные массовые репрессии в ев-

ропейском государстве, все равно — осмысленные или бессмысленные. Можно было поверить в “заговор Тухачевского”. Но при чем же здесь “порабощение без борьбы”? К тому же В. Чалидзе почему-то сводит все репрессии к коммунистическим чисткам 30-х годов. А красный террор? Гражданская война? Кронштадское и Тамбовские восстания? Высылки кулаков и коллективизация? Если иностранцы и не понимали бессмысленности сталинских репрессий (а кто их понимал? русские тоже не понимали) — это ничего не меняет. Факты репрессий остаются налицо независимо от того, осознана ли их бессмысленность или нет. Наконец, для осмысления репрессий достаточно было заглянуть в советскую энциклопедию государства и права. Там откровенно сказано, что никакого смысла в репрессиях и не должно быть: “Пролетарское уголовное право, конечно, не знает понятия вины”.⁵⁷ А вот что было написано в “Руководящих началах по уголовному праву РСФСР”: “Без особых правил, без кодексов, вооруженный народ справлялся и справляется со своими угнетателями... Поэтому наказание не есть возмездие за вину, не есть искупление вины...”⁵⁸ Энциклопедия государства и права продолжает:⁵⁹

С этого пути советское уголовное право уже не сходит. Изданный в 1922 году УК РСФСР и следовавшие за ним УК других союзных республик также обходятся без понятия вины. Не знает его и УК, принятый ЦИК СССР 31 октября 1924 года... Тот, кто не отказывается от понятия вины, в сущности не порвал еще и с возмездием.

После столь откровенных признаний, согласимся, нельзя было требовать от советского правительства осмысленных репрессий, а от западного мира — их осмысления. И вот В. Чалидзе, вместо серьезного обсуждения вопроса о безразличии Запада к коммунистическому террору (впрочем, схожего и с безразличием к террору нацистскому⁶⁰), навязывает нам обсуждение психологических тонкостей. А вопрос этот не психологический, и связан исключительно с знанием фактов или незнанием фактов, а скорее — с желанием или нежеланием знать факты, правильно проанализировать их. Но вместо того, чтобы признать за собой и за западным обществом незнание фактологии советского права, В. Чалидзе склонен обвинять в неосведомленности Солженицына.⁶¹

Активизации антизападной пропаганды в эмигрантской прессе мы обязаны, пожалуй, именно ему... Иногда кажется, что это ворчание неосведомленного человека. Вот, казалось бы, пустяковая придирка... В интервью с Би-Би-Си Солженицын возмущается:

“Осенью 77-го года, во время американской книжной выставки в Москве, американские издатели решили почтить званым обедом главных представителей русской литературы. А звали примерно по такому признаку: кто числится в диссидентах. И вот ирония: на этот обед, собственно, русская литература, стержневая — не была позвана”.

В. Чалидзе комментирует:⁶²

Это его обида за “деревенских писателей”. Ну, обида вроде бы понятная: “наших” на обед не позвали — в деревнях на свадьбах из-за этого драки бывают. Но ведь легко было по телефону уточнить, что никаких “главных” представителей на обед и не собирались звать, а звали тех, кого публиковали в США!

Я допускаю, что А. Солженицын ошибся. Художник бóльший, чем те приглашенные и не приглашенные, он увидел стержень русской литературы не там, где видит его В. Чалидзе и западные издатели. (Здесь, безусловно, есть простор для нескольких мнений.) Естественно же было А. Солженицыну предположить, что и авторы талантливых, пусть скучных для сегодняшнего западного читателя произведений, а потому и не переведенных, и на Западе не изданных, окажутся за одним праздничным столом с писателями, чьи произведения вышли здесь на русском или в переводах. И на такой “пустяковой придирке” вряд ли позволено строить обвинение в неинформированности. Я хотел бы указать В. Чалидзе еще и на тон комментария. По-моему глубокому убеждению, даже в самой острой полемике правила этики не могут позволить приравнять “обиду за деревенских писателей” автора “Архипелага ГУЛага” и человека, который старше В. Чалидзе по возрасту, к пьяной деревенской драке. Это правило этики В. Чалидзе нарушил.

Но конечно же, не ради “пустяковой придирки” В. Чалидзе начал рассказывать об “ошибках” А. Солженицына. Пример с книжной выставкой был только прелюдией к более серьезному обвинению, к обвинению в том, что А. Солженицын является скрытым поборником фашизма. Сначала В. Чалидзе запугивает читателей “политизацией патриотизма”, “духовным изоляционизмом”, от имени анонимной “эмигрантской публицистики” еще и лозунгом “демократия не для русских”.⁶³ В. Чалидзе прекрасно знает, что у советских эмигрантов можно найти любые высказывания. Но какое отношение все это имеет к А. Солженицыну? В. Чалидзе же запутывает читателей настолько, что они уже не понимают, где мысли А. Солженицына, где высказывания безымянной эмигрантской публики, где комментарии и предположения самого В. Чалидзе. Это метод советской пропагандистской машины: в статье о Солженицыне разбирать суть Власовского движения и через Власова

обвинять в фашизме Солженицына. В. Чалидзе идет именно по этому пути. Он мимоходом перескальзывает на Власова, которого "в некоторых эмигрантских кругах... славят за переход на сторону Германии и вооруженные действия против своего народа".⁶⁴ Но, во-первых, В. Чалидзе попросту спекулирует на слове "народ". Власов сражался не против своего народа, а против коммунистического (да еще и сталинского) правительства.⁶⁵ Во-вторых, прямой связи между генералом Власовым и А. Солженицыным В. Чалидзе установить не может, и на помощь снова приходят "эмигрантские публицисты". В. Чалидзе вырывает из контекста фразу Ю. Блинова: "Профашистское движение "немецких христиан", объявившее фюрера богоизбранным вождем, пользовалось почти неограниченной свободой действий..."⁶⁶ Эта фраза вроде бы и не говорит ни о чем, лишь констатирует факт. Но В. Чалидзе комментирует ее следующим образом: "В обсуждении националистического авторитаризма проскальзывают и напоминания о некоторых достоинствах немецкого национал-социализма".⁶⁷ Да где же в этой фразе хоть слово о "достоинствах"? И во всех случаях, — и в который раз — причем же здесь А. Солженицын?

Ну, и наконец — главный козырь В. Чалидзе и единственная "прямая" ниточка между А. Солженицыным и обвинениями в фашизме — речь, произнесенная А. Солженицыным в Испании. В. Чалидзе пишет:⁶⁸

Сколько раз ругали мы тех незадачливых туристов, кои, приезжая в СССР, пишут потом небылицы, как-де прекрасно. Тут и Б. Шоу, и Л. Фейхтвангер оставили о себе дурную память. Но вот А. Солженицын приезжает в страну, пережившую десятилетия фашистской⁶⁹ диктатуры, и заявляет: "Я удивляюсь, знаете ли вы, что такое диктатура, что называют этим словом?" — И это, пробыв 10 дней в стране и увидев что-то отличное от диктатуры, к которой он привык.

Это в стране, в которой закрытые военные суды рассматривали обвинения против гражданских лиц, в которой была цензура и запрет всех политических партий, кроме партии ген. Франко. Десятилетия люди жили с этой диктатурой.

Вот и гадай, читатель, — легкомыслие это или способ сказать, что фашистский режим — это то, что и должно быть для надежной охраны страны от коммунистов. Кто поверит в легкомыслие Солженицына?

Но где же цитаты из А. Солженицына, подтверждающие это самое главное обвинение В. Чалидзе? Их нет. И нет ни одного доказательства. Лишь голословные обвинения и предположения.

Сравнение А. Солженицына с Шоу и Фейхтвангером — поверхностно. Сквозь опыт западной демократии с одной стороны, напуганные торжеством германского нацизма и итальянского фашизма с другой, ни

Шоу, ни Фейхтвангер не смогли разглядеть существа коммунистического режима. Закрытая для иностранных корреспондентов, туристов и западной информации, советская Россия не спешила рассказать о себе правду и в своих собственных газетах, хотя о "процессах" и Шоу, и Фейхтвангер, разумеется, знали. Не имея никакой информации об СССР, подкупленные пышным приемом и встречами с высокопоставленными лицами, они составили о режиме в корне неправильное мнение.

Так ли с А. Солженицыным? Нет. Он приехал в Испанию с опытом участника войны и заключенного советского лагеря, мудростью мыслителя и человека, познавшего на себе всю тяжесть диктатуры коммунистического режима. С другой стороны, Испания никогда не представляла собой закрытого государства. Если и допустить, что испанские средства массовой информации ничего, кроме пропаганды, не содержали, трудно проигнорировать тот факт, что Испания оставалась открытой и для иностранных корреспондентов, и для многочисленных туристов (Испания, во многом, этим и живет), и для эмиграции и иммиграции (еще при жизни Франко туда начали возвращаться и многие "советские" испанцы). Таким образом, мы знали об Испании куда больше, чем немец, англичанин или испанец об СССР 1930-х годов. Да ведь, в конце концов, сегодня нас не обманет никакая ложь ни об одной стране мира, опубликованная в советской газете. Интуицией, не всегда поддающейся логике и объяснению, мы делали самые правильные выводы и о вьетнамской войне, и о положении на Ближнем Востоке, а уж тем более — об Испании, лишь на основании скупых и лживых сообщений газеты "Правда". Признав столь выдающийся дар по ним и за собой, неужели не оставим его и за А. Солженицыным?

Нельзя, конечно, считать, что испанская диктатура для испанцев была легкой. Не зная нашего опыта жизни в тоталитарном государстве, не познав, к своему счастью, ни советской, ни германской оккупации, как могли они предположить, что бывает диктатура худшая, чем их собственная? Но в том и заключалось гражданское мужество А. Солженицына, что он осмелился прямо, пренебрегая вероятной критикой, вывести испанский народ за пределы местного, ограниченного географией Пиренейского полуострова, опыта. Да, франкистская Испания прославилась на всю демократическую Европу цензурой и судами. Только по сравнению с *нашей* цензурой и *нашими* судами они кажутся пародией на диктатуру. Вот об этом А. Солженицын и рассказал испанцам.

Многочисленные критики А. Солженицына в вину ему вменяют и антисемитизм. Выдвинув это неприятное обвинение, какие же доказательства приводят в его подтверждение? Никаких! В Чалидзе лишь в очередной раз использует подтасовки. Он цитирует Орехова, Клепикову и Удодова⁷⁰, он приводит лагерный диалог Синявского с "кем-то".⁷¹ Да какое отношение все эти цитаты и лагерный диалог А. Синявского, даже если он и не является литературным вымыслом

автора, имеет к А. Солженицыну? На процессе А. Синявского и Ю. Даниэля советский суд строил свои обвинения против писателей на цитатах из их собственных художественных произведений. В. Чалидзе идет еще дальше: обвиняет А. Солженицына на основании цитат из А. Синявского. Антисемитизм усматривается и в том, что А. Солженицын, теперь уже в своем собственном художественном произведении "Ленин в Цюрихе", "трогательно", с точки зрения В. Чалидзе, говорит о "рабочем Шляпникове".⁷² Но А. Авторханов, чеченец по национальности (раз уж ведет В. Чалидзе счет "кровяным аргументам"⁷³) о наркоме труда Шляпникове, единственном человеке, который, в рамках коммунистической системы пытался защитить столь ценимые В. Чалидзе права рабочих, отзываясь с достаточным уважением.⁷⁴ И это еще никому не давало повода обвинить А. Авторханова ни в антисемитизме, ни в русском национализме.

Когда под давлением тенденциозности искажается каждая мысль, каждая фраза, спор вести невероятно трудно. И не успеваешь оправиться от одной подтасовки, как немедленно подкидывают новую. Очередную "политическую цель" А. Солженицына В. Чалидзе узревает в "идеализации царской России": "Солженицыну и его последователям нужно убедить людей в ценности авторитаризма".⁷⁵ Здесь поспешно цитирует В. Чалидзе некоего Н. Осипова⁷⁶ (и опять непонятно, какое отношение имеет Н. Осипов к А. Солженицыну?), а затем в никуда — Осипову? А. Солженицыну ли? — бросает и еще одно страшное обвинение: "нет ли здесь цели убедить людей, что и теперь революцию можно сделать с легкостью?"⁷⁷ В. Чалидзе, однако, противоречит себе же: "Благодаря очень важным разъяснениям А. Солженицына теперь уже не ждут кровавой революции — он объяснил, что кровь не спасает". Фраза эта принадлежит самому В. Чалидзе.⁷⁸

Не забывает В. Чалидзе процитировать и из статьи А. Солженицына "Раскаяние и самоограничение".⁷⁹ В. Чалидзе пишет:⁸⁰

Иногда кровавые аргументы доводятся до бессмыслицы: вот как реагирует известный защитник угнетенных на насильственное переселение и теперешнее преследование крымских татар: "Татарское иго над Россией всегда ослабляет наши возможные вины перед осколками орды". Так-то, крымские татары, — покайтесь за предков вместо борьбы за возвращение в Крым! А то, что они — люди, с правом на свою землю, — это второстепенно; важно, что они как будто потомки тех татар!

Да ведь взять любой клочок мысли В. Чалидзе и преподнести его с подобными комментариями, так и самого В. Чалидзе в фашисты записать сможем. "Правда" еще и не так бы прокомментировала, и все бы складно вышло. Есть мысли, которые трудно цитировать строчками, нужно — абзацами. А из этой статьи А. Солженицына и абзацами выре-

зять нельзя; можно — разделами. Это статья не о "насильственном переселении и теперешнем преследовании крымских татар", а о Всеобщем Раскаянии. Вырванная В. Чалидзе из контекста строчка, будто рыба, выброшенная на берег, перестала быть неделимым явлением Природы и погибла под лучами горячего солнца, дав отвратительный запах. Вот о чем шла речь в той статье:⁸¹

И не правда ли, есть ощущение: острота раскаяния как личного, так и национального, очень зависит от сознания встречной вины? Если обиженный нами обидел когда-то и нас — наша вина не так надрывна, та встречная вина всегда бросает ослабляющую тень. Татарское иго над Россией навсегда ослабляет наши возможные вины перед осколками Орды, Вина перед эстонцами и литовцами всегда больней, стыдней, чем перед латышами или венграми, чьи винтовки довольно погрохали и в подвалах ЧК и на задворках русских деревень. (Отвергаю непрменные здесь возгласы: "так это не те! нельзя же с одних — на других!.." И мы — не те. А отвечаем все — за все".)

Это — лишний довод в пользу раскаяния всеобщего. И какое же очищение, даже восторженное, вызывает у нас, когда враги признают свою вину перед нами! С каким рвением добрым хочется перехлестнуть их в раскаянии, превзойти в великодушии!..

Как всякое раскаяние, так и раскаяние нации предполагает возможность прощения со стороны обиженных. Но ожидать прощения, прежде того самим не настроившись простить, — невозможно. Путь взаимного раскаяния есть и путь взаимного прощения.

Кто — не виновен? Виновны — все. Но где-то должен быть пресечен бесконечный счет обид, уж не сравнивая их по давности, по весу, по объему жертв. Ни сроки, ни сила обид сравняться никогда не могут... Но могут сравняться чувства раскаяния...

Взаимных вин особенно много накапливается в государствах многонациональных и в федерациях — таких, как раньше была Австро-Венгрия, как сейчас СССР... По отношению ко всем окраинным и заокраинным народам, насильственно втянутым в нашу орбиту, только тогда чисто окажется наше раскаяние, если мы дадим им подлинную волю самим решать свою судьбу.

После раскаяния и при отказе от насилия выдвигается как самый естественный принцип — САМООГРАНИЧЕНИЕ. Раскаяние создает атмосферу для самоограничения.

Можно не соглашаться с идеей соизмеримости вин и раскаяний, с мыслью о раскаянии наций и взаимном раскаянии и прощении. Но во всех случаях в указанном контексте цитируемая В. Чалидзе фраза А. Солженицына приобретает абсолютно другой смысл. Если же и говорить о "праве на свою землю", то и цитировать нужно другое:⁸²

Я неоднократно высказывался и могу повторить, что никто никого не может держать при себе силой, ни от какой из спорящих

сторон не может быть применено насилие ни к другой стороне, ни к своей собственной, ни к народу в целом, ни к любому малому меньшинству, включенному в него, — ибо в каждом меньшинстве оказывается свое меньшинство. И желание группы в 50 человек должно быть так же выслушано и уважено, как желание 50 миллионов.

Или:83

Я желаю добра все народам и чем ближе к нам живут, чем в большей зависимости от нас — тем более горячо.

Или:84

Достаточно вспомнить и несчастных крымских татар, которых и сегодня не пускают в Крым...

Нет ни одной речи, ни одной статьи, в которой А. Солженицын восхвалял бы национализм или шовинизм. Патриотизм — да; национальное возрождение, нравственное возрождение — да. Но не более. И тем не менее критики А. Солженицына из статьи в статью перекидывают вымысел о национализме или шовинизме. М. Михайлов пишет:85

От начала и до конца всей своей своей статье в журнале "Форин Эффеарс"86 Солженицын бесконечное число раз повторяет слова "национализм, национальное самосознание...", и по существу задача всей его статьи заключается в том, чтобы доказать, что только национализм, и именно русский национализм, является единственной силой, которая может противостоять коммунистическому тоталитаризму и спасти весь мир.

И далее Михайло Михайлов на протяжении своей огромной статьи спорит и спорит с этой самой страшной угрозой, исходящей от А. Солженицына — национализмом, постоянно склоняет это слово. Заколдованный круг. И беспомощно опускаются руки. Ведь в статье А. Солженицына "Чем грозит Америке плохое понимание России" слово "национализм" как таковое самим А. Солженицыным НИ РАЗУ НЕ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ.

Вот как писал А. Солженицын:87

Пугают — фантомом. "Русским национализмом" клеймят сейчас простое чувство любви к своей родине, естественный патриотизм. Но страну, не знавшую 50 лет простого хлеба, — уже никому не настроить к воинствующему национализму.

А 1941—45 годы? Вот когда впервые — в масштабе многомиллионном и полностью в глазах всего мира, коммунизм действительно оседлал русский национализм, убийца оседлал полуубитого — и в Америке, и в Англии не только никого это не утратило, — но вызвало единодушный восторг всего западного мира... И не упрекали, что это "величайшая опасность", хотя на самом деле это и была величайшая опасность.

Главное и основное обвинение М. Михайлова против А. Солженицына — обвинение в национализме. Но ведь нет и предмета спора, так как нет "националиста" А. Солженицына. А сам М. Михайлов с невинным непониманием, "противопоставляя" А. Солженицына-писателя А. Солженицыну-публицисту, пишет: "Мысленно озирая солженицынские произведения что-то никак не могу вспомнить образ русского националиста".⁸⁹ Вот именно.

Там, где речь идет о цитатах А. Солженицына, М. Михайлов крайне скуп. Ничего, кроме вырванных из контекста одной-двух строчек, он читателю не предоставляет. Зато уж какая широта души проявляется при цитировании "последователей" А. Солженицына! Большими параграфами (куда уж там В. Чалидзе) представлены взгляды В. Краснова, М. Шендера, Т. Шумана, Б. Парамонова, и дан даже отрывок из выступления А. Гинзбурга в Париже. И еще, и еще... На страницу отрывок высказываний М. Джиласа, "слова умнейшего Г. П. Федотова", кусок из статьи Маргушина, и из статьи Меерсона-Аксенова, и из книги Ричарда Пайпса. И конечно же, постоянно — из Достоевского.⁹⁰ Ведь статья называется "Возвращение великого инквизитора". Значит, нужно навязать читателю и эту аналогию: А. Солженицын — националист — инквизитор. Вот только к А. Солженицыну статья никакого отношения не имеет, как не имеет к А. Солженицыну отношения и ни одно из обвинений М. Михайлова.

В унисон с М. Михайловым звучит и Л. Копелев: "Призывы к обособлению России от мира, к созданию некоего сверхобычного авторитарного строя оказываются... всего ближе к идеалам сталинской автаркии "образца 1948—1953 гг." и к программе маоистской "культурной революции".⁹¹ Это — о "Письме к вождям", где если и есть призыв, то лишь к залечиванию вековых российских ран.

Но, пожалуй, никто не ушел так далеко, как Соловьев и Клепикова, авторы статьи "Загадочные оккупанты земли русской".⁹² Они пишут:

Защищаемый А. И. Солженицыным Николай I (когда и от чего А. Солженицын его защищал? — Ю. Ф.) ознаменовал вступление на престол повешением пяти своих диссидентов — "декабристов"

(в то время как Брежнев сажает в тюрьмы, ссылает, выпускает за границу, но не казнит...).

На эту демагогию, на это издевательство над человеческим разумом возражать трудно. За участие в попытке государственного переворота в девятнадцатом веке были повешены пять человек. И в двадцатом находятся люди, которые ставят в заслугу Брежневу, что он уже не вешает открыто. Почему бы не поставить в заслугу Гитлеру, что он не бросал живых людей в котлы с кипящим маслом, а всего лишь в газовые камеры! Будто из советских партийных учебников или лекций неграмотных партагитаторов на нас напускают знакомые формулировки: "Столыпин — столыпинские галстуки", "Россия — жандарм Европы" (и все это печатает, заметим, не "Правда", а эмигрантская газета).⁹³ Сталинщина, по мнению авторов, — "рецидив империализма и национал-шовинизма. Русская история едина, и революция 1917 года не стала ее окончанием и рубежом".⁹⁴ Сложнейшие переплетения исторических судеб народов и культур нам пытаются подменить сухими и поверхностными аналогиями исторических личностей.⁹⁵

Деление русской истории на — до Октябрьской революции и после нее — оказывается условным ввиду хотя бы поразительного сходства царя-изувера Ивана Грозного с изувером-коммунистом Сталиным, императора-реформатора Петра Великого с реформатором-большевиком Лениным, либерального царя Бориса Годунова с либеральным премьером Никитой Хрущевым — остережемся современных параллелей и не станем подбирать историческую пару Брежневу.

И даже не бьет в глаза авторам явное противоречие, что если Сталин — "изувер-коммунист", не может быть сталинщина "рецидивом империализма". И если реформатор Петр I брил бороды и вводил западные моды на одежду, реформатор-большевик Ленин вводил систему заложников и расстрелы по классовому признаку. И я не вижу здесь каких-либо аналогий. И секретарь ЦК Н. Хрущев выдерживает сравнение с Борисом Годуновым в той же степени, что и с Генрихом IV (Наваррским), то есть — не выдерживает его вообще. В л ю б ы х правителях л ю б ы х государств в л ю б ы ю эпоху мы найдем что-то общее, прежде всего потому, что все они ходили по той же земле, дышали тем же воздухом. И все они были о двух руках, о двух ногах, об одной голове. И что изменится от того, что нам "научно" докажут, например, что Бисмарк и Гитлер — исторические "двойники"? Ведь нужно еще доказать, что "двойниками" были и потомки тех немцев, которые жили при Бисмарке. И почему же было не подобрать "двойника" Брежневу? Не потому ли, что этому банальному типу советского генсека не нашлось параллели в десятивековой истории России?

Не утруждая себя цитатами из А. Солженицына, авторы объявляют его "фальсификатором"⁹⁶ и начинают придирчивое жонглирование словами "СССР – Россия"; дескать, по А. Солженицыну "...Все хорошее – русское, все плохое – советское... Кто создал архипелаг ГУЛаг? Советские. Кто написал "Братья Карамазовы", "Война и мир", "Три сестры"? Русские. А кто захватил Чехословакию, Польшу Афганистан? Советские".⁹⁷

Глухой да услышит. Будто не ясно, что литература – национальна (если это действительно л и т е р а т у р а), будто не понятно, что в тех танках, посланных в Чехословакию и в Афганистан, в тех дивизиях, что вступили в 1939 году в Польшу, были не только русские, но и украинцы, белорусы, грузины, евреи. И в "русские" при всем желании не записать создававших систему ГУЛага Троцкого, Дзержинского, Лациса, Стучку и Уншлихта, даже если под "русских" подойдут Ленин и Бухарин. Если есть советский спорт, советский балет и советская наука, почему же не быть и советским ГУЛагу? Что за неприкрытый расизм: "все плохое – русское"! А все хорошее?

Другой оппонент А. Солженицына, В. Чалидзе, делает вид, что пишет статью не о писателе, но о политическом деятеле, готовящемся к предвыборной кампании:⁹⁸

Тайной покрыто желаемое устройство общества. Кто принимает решения? Царь? Патриарх? Верховный писатель? Никаких разъяснений ни у Солженицына, ни у его последователей. Только и разговору, что будущая Россия должна быть православной, с высоким национальным духом и авторитарной. А что будут делать с теми, кто ни православия не захочет, ни высокого духа? С диссидентами? Неизвестно. И это настораживает.

"Последователи" понадобились В. Чалидзе в очередной раз для того, чтобы легче было фантазировать (уж кто-нибудь из "последователей" А. Солженицына наверняка сказал хоть что-то в этом роде). Затем опять безответственные заявления и предположения, "верховный писатель" – ругательство, списанное с советских газет, "наивные" догадки:⁹⁹

У меня есть сильное впечатление, что определенная часть эмиграции вдохновлена идеями вождя (т. е. А. Солженицына. И ведь не случайно В. Чалидзе употребляет это ругательство – Ю. Ф.) и ведет действительную политическую работу в направлении националистического авторитаризма. Я не знаю, осведомлен ли А. И. Солженицын об этом, но я чувствую, что работа ведется во имя его идей. Нет никакой опасности, что их ждет удача.

Итак, "опасности нет", идеи А. Солженицына — не названы. Если названы — то извращены. Если не извращены, то не А. Солженицына, а его "последователей". Любой здравомыслящий человек согласится с тем, что А. Солженицын не может отвечать за многочисленные статьи российских и эмигрантских авторов, независимо от того, считают ли себя сами авторы последователями А. Солженицына или нет.

Все было бы не так трагикомично, если б В. Чалидзе не противоречил в этой статье себе же в каждом втором слове. Вот он пишет:¹⁰⁰

Русские претензии к коммунизму основываются на том, что народ действительно оказался оторванным от национальной истории; вместо национальной культуры его 60 лет кормили стандартной жвачкой политизированной культуры с претензией на интернационализм, даже само понятие "русский" утрачивает свой смысл и сливается с политическим понятием "советский".

И тут же лаконичным утверждением "Это не так".¹⁰¹ встречает цитату из А. Солженицына:¹⁰²

За русскими не предполагается любить свой народ, не ненавидя других. Нам, русским, запрещено заикаться не только о национальном возрождении, но даже о "национальном самосознании", даже оно объявляется опасной гидрой.

Вслед за этим, уже забыв про свои же собственные слова, В. Чалидзе переходит к описанию сталинско-брежневского национально-го государства, в котором страдают "не только евреи".¹⁰³ Действительно, не только евреи, а все народы и народности Советского Союза. Но государство это — не национальное. А русские в нем страдают — не меньше других. Ведь у каждого малого и большого народа СССР есть хоть какая-то психологическая или духовная отдушина: у евреев — Израиль и теоретическая возможность выезда; у армян — своя церковь, относительно незамученная; у прибалтов — понимание, что их завоевали, — они ясно видят своего врага; у грузин — богатство их республики (в сравнении с голодной Россией). У русских этой отдушины нет.

Это запугивание нас "русским национализмом", эти многочисленные заверения в том, что сегодняшний Советский Союз — государство национальное, а не социалистическое,¹⁰⁴ преследует одну единственную цель — притупить нашу настороженность к социализму, направить нашу энергию в заведомо неправильное русло, на борьбу с "русским национализмом", предоставив социализму свободное от противодействия развитие. Нам не дано уже больше времени пускаться в рассуждения о том, является ли советский социализм "настоящим" или "ненастоящим", "правильным" или "неправильным". Достаточно понять, что он

реальный, практически существующий, а вероятно, и единственно жизнеспособный.

Тем, что А. Солженицын был выслан, а не расстрелян, тем, что еще не замучен до смерти А. Сахаров, мы обязаны не "мягкости" или "гибкости" советского социализма, а западному общественному мнению, за которым сегодня стоит экономический и военный потенциал США и Западной Европы. Если ослабнет Запад, если ослабнет Америка, не будет в "социалистическом лагере" ни диссидентов, ни коммунизма "югославского типа", ни новой "Пражской весны", ни даже "еврокоммунистов": Ничего не будет. Наступит орвелловский 1984 год. И лишь тогда, быть может, мы вспомним сказанное А. Солженицыным:¹⁰⁵

Уровень политической полемики заставляет выслушивать весьма плоские, а притом дружные, обвинения — например, что я идеализирую прошлое России, не знаю историю собственной страны, а уж тем более не понимаю Америку и все современное человечество, ибо мало разговариваю на бензоколонках. Я предупреждал против злостных искажений русской истории, — мне приписали это как исчерпывающую систему взглядов... Я не "читаю нотации", я передаю коммунистический опыт. Мне-то лично проще всего замолчать и предоставить заботу о будущем Америки исключительно единомышленникам мистера Тривса. Когда они испытают его на себе, — у нас будет полное понимание. Но боязнь критики и свежих мыслей — роковая черта обреченных систем... Я мог бы и не спешить со всеми этими аргументами. Уже становится ясно, что ни одна моя статья, ни десять моих статей, ни десятеро таких, как я, — непосильны перенести Западу наш кровавый выстраданный опыт и даже нарушить этот эйфорический комфорт, который царит в американской политической науке. Я мог бы не спешить, потому что уже на пороге те события, которые сами бесповоротно откроют Западу его просчеты.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Михайло Михайлов в статье "ответ моим критикам" (газ. "Новый свет", № 5 (93), ноябрь 1981 г.) пишет: "Оппонент Солженицына профессор Ричард Пайпс... известен своими антикоммунистическими взглядами..." Но Ричард Пайпс — буквально единственное исключение из правила — расходится с А. Солженицыным в мнениях по вопросу о том, был ли октябрьский переворот естественным продолжением российской истории или ее переломным моментом. Впрочем, сам М. Михайлов называет работы профессора Пайпса "тоже не совсем уж объективными" (М. Михайлов, "Возвращение великого инквизитора", "Континент" № 28, 1981, стр. 183).
2. В. Белоцерковский. "Феномен Солженицына" в газете "Новый американец", № 110, 23—29 марта 1982, стр. 10—11.
3. См. А. Солженицын. Бодался таленок с дубом, ИМКА-Пресс, 1975, приложение № 13 — "Вот как мы живем", стр. 542—543. "Раз думаешь не так, как положено — значит, ты ненормальный!" (Там же, стр. 542).
4. Б. Шрагин. "Тоска по истории" в сб. "Самосознание", Нью-Йорк, 1976.
5. М. Михайлов, "Континент" № 28, стр. 184.
6. В. Белоцерковский. "Кампания против свободы", газета "Новый американец" № 103, 2—8 февраля 1982, стр. 11.
7. Б. Шрагин. "Авторитарные личности", газета "Новый американец", № 105, 16—22 февраля 1982, стр. 10.
8. Там же, стр. 11.
9. Б. Шрагин. "Авторитарные личности", стр. 11.
10. В. Белоцерковский, "Революция и эволюция", газета "Новый американец", № 104, 9—15 февраля 1982, стр. 10.
11. Лев Копелев. О правде и терпимости. Нью-Йорк, 1982, стр. 42.
12. Б. Шрагин. "Авторитарные личности", стр. 10.
13. В. Белоцерковский. "Польские уроки",стр. 10.
14. См. Valery Chalidze, "Solzhenitsyn's Authoritarian Russian Nationalism", *Russia* (Chalidze Publications) No. 3, 1981, p. 13.
15. См. "Новый американец", № 282, 17 июля 1985 г., стр. 5.
16. Слова А. Солженицына. Обращение к конференции народов, поработанных коммунизмом, журнал "Вестник РХД" № 116, 1975.
17. М. Михайлов, "Континент" № 28, стр. 182.

18. В. Чалидзе. "О некоторых тенденциях в эмигрантской публицике". "Континент" № 23, 1980, стр. 156.
19. А. Солженицын сказал в Гарварде: "Если бы сегодняшнюю речь я произносил в своей стране, я, в общей схеме раскола мира, сосредоточился бы на бедствиях Востока. Но поскольку я уже четыре года вынужденно нахожусь здесь и аудитория передо мною западная, — думаю, будет содержательней сосредоточиться на некоторых чертах современного Запада, как я их вижу" ("Публицистика", ИМКА-Пресс, 1981, стр. 282).
20. В. Чалидзе, "Континент" № 23, стр. 160.
21. В. Чалидзе, "Континент", № 23, стр. 157.
22. Там же.
23. Там же.
24. А. Солженицын. Американские речи. ИМКА-Пресс, 1975, стр. 88.
25. Там же, стр. 89.
26. В. Чалидзе. "Континент" № 23, стр. 157.
27. Там же.
28. Там же.
29. Там же, стр. 157—158.
30. Там же, стр. 153.
31. Там же, стр. 158.
32. Там же, стр. 157—158.
33. Там же, стр. 158.
34. Там же.
35. Там же, стр. 155.
36. Я прошу не ловить меня на слове. Сионизм — термин ругательный только в советской прессе.
37. В. Чалидзе, "Континент" № 23, стр. 159.
37. В. Чалидзе, "Континент" № 23, стр. 160.
38. Там же, стр. 162.
39. Там же, стр. 162.

40. Там же, стр. 162.
41. Там же, стр. 158.
42. Там же, стр. 162.
43. Там же, стр. 163.
44. А. Солженицын кончил свою речь фразой, не вошедшей в печатный текст статьи: "Спасибо, что сидели под дождем".
45. В. Чалидзе, "Континент" № 23, стр. 163.
46. Там же, стр. 163.
47. Там же, стр. 163–164.
48. Интервью опубликовано в журнале "Вестник РХД" № 127.
49. В. Чалидзе, "Континент" № 23, стр. 165.
50. "В самый момент октябрьского перелома..." (Ленин, ПСС, т. 41, стр. 57). Или – "В первые же дни, если не часы, после перелома Ленин поставил вопрос об Учредительном собрании..." (Троцкий, "Правда", 9 апреля 1924 г.).
51. В разговоре по прямому проводу 26 октября 1917 г. председатель Центробалта Дыбенко спросил комиссара Центробалта Ховрина: "Скажи, сколько убитых и раненых у дворца?" Ховрин: "Убито 5 матросов и 1 солдат. Раненых много". Дыбенко: "Сколько с другой стороны?" Ховрин: "Никого". (См. Великая октябрьская социалистическая революция. Документы и материалы. Москва, 1957, стр. 666).
52. В. Чалидзе, "Континент" № 23, стр. 154.
53. В разгар "революционной ситуации", при повышенной политической активности масс, в ноябре 1917 г. в выборах в Учредительное собрание приняло участие примерно 50% избирателей. В среднем каждый второй российский гражданин, имевший право голоса, предпочел им не пользоваться и не участвовать в выборах в Учредительное собрание. (См.: О. Н. Знаменский. Всероссийское Учредительное собрание. Ленинград, 1976, стр. 294). И в 1921 г. Ленин с дьявольской усмешкой сказал в интервью американским корреспондентам: "Поверьте мне, в России возможны только два правительства: царское или советское... Разве может человек со здравым умом допустить даже мысль об Учредительном собрании при том ненормальном состоянии, в котором находится Россия?.. (Ленин, ПСС, т. 43, стр. 129).
54. Маркс и Энгельс. Собрание сочинений, первое издание, т. 25, стр. 187.
55. А. Солженицын. Радиоинтервью Би-Би-Си. Собр. соч., т. 10, 1983, стр. 364.
56. Руководящее начало по уголовному праву РСФСР. 1919, Москва, изд. "Наркомюст", Введение, стр. 10.

57. Энциклопедия государства и права, стр. 428—429.
58. Правительство Великобритании, например, делало все от него зависящее, чтобы предотвратить бегство немецких евреев из Германии в Палестину. Беженцам из нацистской Германии практически было некуда выехать — тех из них, у кого не было средств в существованию (то есть капитала), никто не принимал.
59. В. Чалидзе, "Континент" № 23, стр. 155.
60. Там же, стр. 155—156.
61. Там же, стр. 171.
62. Там же, стр. 172—173.
63. Власова в одной фразе лучше всего объяснила Надежда Мандельштам: "Как мы метались в двадцатом веке, зажатые между Гитлером и Сталиным!" (Н. Я. Мандельштам, Воспоминания. Нью-Йорк, 1970, стр. 261).
64. Ю. Блинов. "Грядущий град", журнал "Вестник РХД" № 119, 1976.
65. В. Чалидзе, "Континент" № 23, стр. 156.
66. Там же, стр. 156.
67. Точнее было бы назвать диктатуру франкистской (умер Франко, и не стало никакой диктатуры). Но В. Чалидзе для концепции очень удобно соседство имени А. Солженицына и "фашизма".
68. В. Чалидзе, "Континент" № 23, стр. 166.
69. Там же, стр. 167.
70. В. Чалидзе, "Континент" № 23, стр. 170.
71. Там же.
72. См. А. Авторханов. Происхождение партократии. "Посев", 1973, т. 1, стр. 713, 720.
73. В. Чалидзе, "Континент", № 23, стр. 164.
74. Там же, стр. 164. Не путать с ныне осужденным Владимиром Осиповым.
75. Там же, стр. 164.
76. Там же, стр. 152—153.
77. Из-под глыб. Сборник статей. Москва — ИМКА-Пресс, 1974.
78. В. Чалидзе, "Континент" № 23, стр. 170—171.

79. А. Солженицын. "Раскаяние и самоограничение". стр. 141, 142, 143.
80. А. Солженицын. "Не опыт раздора, но опыт единства", "Новый журнал" № 144, 1981, стр. 195.
81. А. Солженицын. "Письмо вождям Советского Союза", в книге "Публицистика", стр. 135.
82. А. Солженицын. Публицистика. Стр. 315.
83. М. Михайлов. "Возвращение великого инквизитора", газета "Новый американец" № 77, 1—8 августа 1981 года, стр. 13.
84. Статья А. Солженицына "Чем грозит Америке плохое понимание России".
85. А. Солженицын. Публицистика. Стр. 323.
86. Там же, стр. 325—326.
87. М. Михайлов, "Новый американец" № 78, 9—15 августа 1981, стр. 13.
88. М. Михайлов, "Новый американец" № 79, стр. 6,7,8 и № 80, стр. 8—9.
89. Л. Копелев. О правде и терпимости. Стр. 47.
90. Е. Клепикова, В. Соловьев. "Загадочные оккупанты земли русской", газета "Новый американец", 11—16 июня 1980, стр. 7.
91. Там же.
92. Там же.
93. Там же.
94. Там же.
95. Там же.
96. В. Чалидзе, "Континент", № 23, стр. 172.
97. Там же, стр. 173.
98. Там же, стр. 169.
99. Там же, стр. 170.
100. А. Солженицын. "Сахаров и критика "Письма вождям" в книге "Публицистика", изд. ИМКА—Пресс, 1981, стр. 197.
101. Там же, стр. 173.
102. См., например: В. Чалидзе. Победитель коммунизма. Изд. "Чалидзе пабликейшенс", Нью-Йорк, 1981.
103. А. Солженицын. "Иметь мужество видеть". "Новый журнал" № 144, стр.174, 194.

Дора ШТУРМАН

“С КЕМ ВЫ, МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ?” *

*Там вода уже —
над всем, что было высью,
Там судьба уже —
ревет, борта сверля...
...Что же злюсь я
на игрушечные мысли
Здесь —
на палубе того же корабля.*

Н. Коржавин (“Эмигрантское”), 1976

1. “САМОДЕРЖАВИЕ ПРАВДЫ”

Статья Г. Померанца в журнале “Синтаксис” № 6 называется “Сон о справедливом возмездии” и имеет подзаголовок “Мой затянувшийся спор”.

У меня тоже есть свой “затянувшийся спор” с Г. Померанцем. Спор односторонний, то есть сугубо читательский. Допустимо ли обнародовать этот односторонний спор, если Г. Померанц — там, а я — здесь?

Полагаю, что допустимо.

Во-первых, Г. Померанц ведет полемику с А. Солженицыным не в частном письме к нему, а на страницах эмигрантского журнала. Таким образом, он апеллирует не только к А. Солженицыну, но и к читателям. Во-вторых, живя в “большой зоне”, Г. Померанц давно и широко публикуется за ее пределами. В-третьих, мои читательские впечатления не повредят ему в глазах надзирателей, ибо я не усматриваю в его высказываниях серьезных нарушений режима. Кроме того, я надеюсь, что, выступая со столь радикальной критикой своего коллеги, Г. Померанц не рассчитывает на молчание несогласных с ним читателей, обусловленное его несвободой. Блистательный публицист, он не нуждается в скидках такого рода. В произведениях, выпускаемых Госиздатом, все мы полуавтоматически производим привычные читательские поправки на

* В основу данной статьи положены работы автора, опубликованные ранее в журнале “Голос зарубежья”, 1981, №№ 20—21 и в сборнике статей Д. Штурман “Земля за холмом”, изд-во ЭРМИТАЖ, США, 1983.

гнет цензуры. Так как журнал "Синтаксис" от этого гнета свободен, то при чтении его публикаций такие поправки были бы противоестественны. Писатель, выступающий в свободной печати, берет на себя весь груз ответственности, возлагаемой на человека свободой выбора. И если при этом человек на самом деле не свободен, то возникает безвыходность, от которой читатель избавить писателя не в силах.

В русской публицистике (исключая коммунистический Госиздат, который не спорит, а, как говорят на Украине, "лается") идет многоголосый спор с Солженицыным. Нынешние спорщики в свое время почти все ждали от Солженицына безупречной — всегда и во всем — правоты и последовательности. Каждый ждал от Солженицына правоты на свой лад, в своем понимании того, что значит быть безупречным. И теперь мы не устаем объяснять друг другу, в чем Солженицын не соответствует идеалу, который ему каждым из нас предписан.

Не так давно меня обвинили в одном из эмигрантских журналов в том, что я любое возражение Солженицыну воспринимаю как ангажированность советской властью. Я решительно отвожу от себя это обвинение.

Когда спорят и даже воюют друг с другом две заботы (не будем употреблять всеу высокое слово "миссия"), спор равноправен, независимо от равенства спорящих в таланте, в прозорливости, в образованности, в известности и в других иерархических отношениях.

Серьезен, к примеру, спор Д. Панина с А. Солженицыным в книге первого "Солженицын и действительность" (Париж, 1975).

Когда же спорят забота и амплуа, одну из сторон нельзя рассматривать в системе отсчета второй стороны: имитатору нет дела до чьих-то забот, а пытающемуся докричаться или постичь истину — до позы, изображаемой исполнителем амплуа.

"Игрушечные мысли", о которых говорится в эпиграфе к этим раздумьям, т. е. затейливая имитация работы и забот духа, — одна из самых страшных забав человечества. И не только потому, что она бесплодна и растлевающая, как все разновидности греха Онана. Имитация творчества опасна еще и потому, что у мастеров и болельщиков этой игры нет в их собственных душах опоры, позволяющей противостоять не только мучительству (это трудно для всех людей), но и лукавству дьявола.

Забота чаще превращается в амплуа, чем можно предположить. Это случается, когда к миссии начинают, пусть в гомеопатических дозах, примешиваться некие посторонние для сути предмета мотивы, личные или навязанные извне (последнее не имеет значения).

Тень амплуа чудится мне в некоторых работах о Солженицыне.

Несомненно, что далеко не "всякое несогласие с Александром Исаевичем в конечном счете сводится к казенной лжи" (Г. Померанц).¹ Более того: отнюдь не "всякое несогласие" с Александром Исаевичем во-

обще сводится к неправоте и уж тем более — ко лжи. Но ведь вот какая возникает странность: в статье Г. Померанца, как во всем том, что он публикует, есть множество точных, тонких и остроумных мыслей, в ней содержатся некоторые обоснованные возражения А. Солженицыну по весьма важным вопросам. Протест же (не просто возражение, а протест, даже некое подобие шока) вызывают те мысли Г. Померанца (и о Солженицыне, и не о нем), которые представляются (мне) для этой его статьи стержевыми и целеполагающими. Чаще всего эти мысли связаны с принадлежащим Г. Померанцу парадоксальным полутожеством-полупротивопоставлением "Солженицын — коммунизм".

* * *

Следуя Нильсу Бору, Г. Померанц различает два класса истин: истины "ясные" и истины "глубокие". Глубокая истина, вероятно, и в самом деле "не может быть однозначно высказана словом" (Г. Померанц): "Я готов повторить то, что сказал когда-то Нильс Бор: бывают истины ясные и истины глубокие. Ясной истине противостоит ложь, глубокой — другая истина, тоже глубокая. Есть огромная область, где веками противостоят друг другу равно глубокие истины. И как раз эта область — королевский домен интеллигенции. Слишком большая захваченность борьбой за ясные истины сужает почву, на которой могут укорениться истины глубокие. Ты мне ври, да ври по-своему и я тебя поцелую, — говорил на заре русской интеллигенции пьяный Разумихин. Со врать по-своему — это лучше, чаем правда по-одному, по-чужому. Правда не уйдет, а жизнь заколотить можно. Примеры были..."

Да, примеры были... Но...

Не происходит ли здесь незаметной (за красноречием) подмены вопроса?

Нильс Бор противопоставляет "истины ясные" "глубоким истинам", и я не буду вдаваться в его обобщение. Возможно, он говорит о специальной области со специфическим соотношением "истин" (о моделях физической реальности на различных ее уровнях).

Я не берусь категорически судить о вещах такой степени сложности, но предполагаю, что в той области жизни, которой касается Г. Померанц, любое (и "ясное" и "глубокое") приближение (большого здесь не дано) к Истине неоднозначно и неполно по определению. Здесь классификация Нильса Бора неприменима.

Но ведь строкой ниже Г. Померанц готов предпочесть "ясной истине" уже не "глубокую истину", а "вранье" — лишь бы "по-своему"! Да и беспечное "правда не уйдет" (Бедные деревенские Яшинские "рычаги" когда-то вещали: "Правда, она, брат, свое возьмет, она прогрессирует!..") ох как сомнительно!.. Это уже от того поветрия, которое во все времена (а на пирах во время чумы — в особенности) предпочита-

ет "карнавальную игру" словами страшному лику всех приближений к правде (как "ясной", так и "глубокой").

Кроме того, "неистины" часто бывают выражены вполне убедительно, с опасным для адресата правдоподобием. Концепции, не следующие реальности, выглядят обычно гораздо более стройными, а значит, и более постижимыми, чем нестройная жизнь.

К числу таких правдоподобных неистин относится введенный Г. Померанцем в его статью образ "самодержавия правды". Эта негативно окрашенная метафора должна хорошо восприниматься адресатом Г. Померанца. Я имею в виду не А. Солженицына, а круг, самовыразившийся в монологе Г. Померанца. Этот круг, по роду своих занятий и дарований вынужденный десятилетиями подвизаться на советской идеологической барщине, испытывает отвращение ко всякой тенденциозности, почти независимо от содержания самих тенденций. Полное неприятие тенденциозности становится их тенденцией.

Этим людям так долго навязывали не только обязательные высказывания и поведение, но и обязательное миропонимание, что они почитают обскурантизмом всякую мировоззренческую определенность. Им кажется деспотической любая попытка отстаивать такую определенность. Они делают исключение только для апологии неопределенности и недействия, для все уравнивающей иронии и беспечной игры словами, которые легче всего считать свидетельством широты взглядов и глубокомыслия.

Эти изящно "надежные" люди не переносят любовых "шестидесятилетних" и "передвижнических" вопросов вроде: "Кто виноват?", "Что делать?" и "Кому на Руси жить хорошо?" — от которых, как этому кругу представляется, и пошло все зло.

Мысль, что зло могло утвердиться не из-за вульгарной страсти российских интеллигентов к прямолинейным вопросам, а из-за ошибочности хороших ответов на них, кажется нынешнему эрудиту и чересчур тривиальной, и дискомфортной.

Пожалуй, с вопросом: "Кто виноват?" я тоже готова расстаться. Но вопросы: "Что виновато?", "Как это вышло?" и дважды безнадежно скомпрометированное "Что делать?" — продолжают (каюсь) меня волновать. Более того: они меня преимущественно и занимают.

Когда же чей-то ответ на один из этих (или подобных) вопросов застревает в душе и становится чересчур беспокоящим, на выручку тенденциозному интеллектуалу приходит неприязнь к "самодержавию правды".

Однако "самодержавие правды" (Г. Померанц) есть словосочетание бессодержательное (если только это не самодержавие "Правды"). "Самодержавие правды" никогда не было и не может быть. Любая мысль, объявляющая себя единственно легитимной, в силу одной уже только этой претензии автоматически становится ложной. Г. Померанц гово-

рит, что он ведет с А. Солженицыным спор "за республику идей против самодержавия правды". На деле же спор "за республику идей" может быть только против самодержавия лжи. Правда органически сопряжена со свободным выбором и многоаспектностью и поэтому реализуется исключительно в виде "республики идей". Но ведь назвать А. Солженицына "самодержцем лжи" невозможно. Это было бы недостойно Г. Померанца и слишком напоминало бы "казенную ложь" о Солженицыне. И Солженицын предстает перед читателем в образе фанатического и одностороннего самодержца правды, что, как сказано выше, есть словосочетание бессодержательное: либо правда — либо духовное самодержавие. Зато как полемический прием, рассчитанный на читателя, а не на оппонента, эта формула, осуждающая интеллектуальную нетерпимость и узость, очень удачна. За ней возникает неприятная сила, стремящаяся во что бы то ни стало навязать всем остальным свою, и только свою версию истины.

За этим выразительным, но пустым словосочетанием, явно связанным с Солженицыным, от читателя как-то ускользает, что Солженицын не более самодержец, чем Г. Померанц. Никакого оружия, кроме Слова, он не использует и других не призывает использовать. На протяжении многих лет, истекших после выхода в свет "Одного дня Ивана Денисовича", даже в собственных трудах и речах А. Солженицына не господствует безраздельно и самодержавно одна и та же идея. В этих работах перед нами возникает человек-процесс, занятый напряженным постижением мира. Конечно, постижением по своей, а не по чьей-то методе. Мне, например, не все его выводы и чувствования близки, но в том, что он занят мучительным и важнейшим для людей (и себя) делом, у меня никогда сомнения не возникало.

2. ВОЗМУЖАВШЕЕ ЗЛО

В интерпретации Г. Померанца А. Солженицын неприятен еще и тем, что занят он вроде бы делом уже устаревшим, анахроническим: он борется против вещей, против которых уже нет особого смысла бороться. Во всяком случае Г. Померанцу против "возмужавшего, окрепшего" зла, которое мешает жить А. Солженицыну, бороться уже неинтересно. Это зло не представляется ему опасным. Предел этого зла обозначен: оно созрело, а все созревшее умирает, чего Солженицын не хочет видеть.

То, что сталкивает меня с Александром Исаевичем, нельзя свести к недоразумениям, к непониманию друг друга. Скорее это разное понимание зла, сосредоточенность на разных сторонах зла. Солженицына увлекает задача борьбы с возмужавшим,

окрепшим злом. Я смотрю на такое зло глазами Лао-цзы: *твердое, крепкое — завтра будет мертвым*. Мне страшно другое: младенчество зла, первый поворот от добра к злу, первые его робкие, прелестно нетвердые шажки. Розовые пальчики, которые завтра сожмут топор. Сдвиг в душе змееборца, начало остервенения, из которого вырастает новый змей.

Я думаю, что Солженицына не увлекает, а подчиняет себе задача борьбы с одолевающим мир *“возмужавшим, окрепшим злом”*. И прикован он к этой задаче вовсе не жаждой мести. Солженицын боится, что в ночь, отделяющую плохое *“сегодня”* от хорошего *“завтра”* (*“твердое, крепкое — завтра будет мертвым”*), зло успеет перемолоть мир. *“Пока солнце взойдет, роса очи выест”*, — говорят украинцы.

Я тоже боюсь, что зло успеет убить мир в течение ночи, отводимой ему на умирание людьми, способными отрешиться от происходящего. И поэтому у меня есть вопрос к цитирующему Лао-цзы Г. Померанцу: *“твердое, крепкое зло”* умрет завтра само собой или с помощью одержимых, которые с ним дерутся?

Смысл красивой метафоры с *“розовыми пальчиками добра”* и зажатым в них топором сводится — в итоге статей Г. Померанца и А. Янова, помещенных в журнале *“Синтаксис”* № 6 — к тому, что это именно Солженицын держит в руках топор. Не очень понятно только, против кого он намерен пустить его в ход. Против коммунистов? Против инородцев? Конечно, я понимаю, что несколько упрощаю тезис Г. Померанца: топор держит в руках не лично Александр Исаевич, а те, которые идут за ним и растут из его одержимости *“антипалачеством”*, из его узости и ксенофобийных комплексов. Но, когда дочитываешь статью до конца, сложная мысль Г. Померанца разрешается хорошо знакомым историкоматериалистическим выводом: поскольку коммунизм — это явление зрелое, предельно развившееся, сиречь потенциально отмирающее, а солженицынское *“антипалачество”* — зло нарождающееся, т. е. развивающееся, то Солженицын не только не безобиднее, но и опаснее коммунизма.

Самый расположенный к Г. Померанцу читатель не смог бы не сделать из его статьи этого вывода.

Если же снять с этой мысли predeterminedенные уникальной начитанностью Г. Померанца наслоения, то окажется, что опасность для человечества А. Солженицына, а также опасность антикоммунизма и антинацизма обусловлена способностью этих трех грозных политико-идеологических феноменов дойти в своем рвении к добру до того же, до чего дошли в рвении к своим идеалам коммунизм и нацизм.

При этом националистические переборы у Солженицына отнюдь не рассматриваются как простительный и понятный *“эмоциональный вскрик”* (Г. Померанц) типа *“Россия — сука”* у А. Синявского. Ничего

не имею против этого объяснения. Хочу, однако, заметить, что А. Солженицын ни разу к равному по силе экспрессии “эмоциональному всхлипу”, например: “Бей жидов — спасай Россию!” — не приближался. Ни прямо, ни в подтексте своих произведений. Ему же это почти откровенно приписывается.

Именно эта смелая и широкая нонконформистская мысль (Солженицын, антикоммунизм и антинацизм, если и не хуже — сейчас, то потенциально опаснее современного коммунизма) ² и заставила меня подумать об утрате Г. Померанцем миссии постижения. Мне почудилось рискованное для всякого дарования приближение к некому амплуа, даже бесконечно малая примесь которого лишает размышление подлинности. В подлинных поисках живут и великие заблуждения, и роковые ошибки, и слабости, и прозрения. Но вне подлинности самое изощренное словотворчество не может тягаться с косноязычием неподдельной работы мысли.

Довод, что коммунизм — зрелое, окрепшее зло и поэтому завтра умрет, несостоятелен ни с одной из возможных точек зрения на коммунизм, кроме одной точки зрения — коммунистической. Прежде всего потому, что это зло извечно действует по блатному принципу “умри ты сегодня, а я — завтра”. И только ему полезно, чтобы мы отложили борьбу с ним на “завтра”.

В распоряжение коммунизма нельзя предоставлять эту ночь: может быть, только одна эта ночь и нужна ему для победы.

Такое зло, подобно злокачественному образованию, кончается (если ему не препятствовать) только после того, как пожирает все, что может послужить ему пищей и полем существования.

И это отнюдь не метафора — это определение класса явлений. Мне безразлично, именуется ли партократия свою задачу “мировой революцией” или маскирует ее какой-то иной фразеологией. Важно, что поглощение еще не проглоченного — способ существования реального социализма, он же коммунизм.

Может показаться риторически убедительной мысль Г. Померанца о том, что нет таких тенденций (в том числе добра), которые нельзя было бы довести до крайних пределов, губительных и абсурдных, как все крайности. Но в этом смысле и предельный объективизм так же подлжит вырождению в катастрофическую и жесточайшую бессмыслицу, как и любое пристрастие. Если бы Г. Померанц говорил о крайностях какого-то взгляда, лежащих за полем необходимого и достаточного сопротивления злу, это была бы речь об — искони! — самой главной и трудной проблеме человеческого существования. Когда-то Г. Померанц так и говорил об этой самой проблеме:

Никто не мешает нарушить все десять заповедей, и знаешь, что иногда придется сделать это: порвать с отцом и матерью, полю-

бить жену друга. Но не сделаешь этого до последней крайности, схватившей за горло. Потому что грех, даже если нужно принять его на душу, остается грехом. Всякий грех, даже тот, не сделать который было бы еще большим грехом, трусостью, низостью, раскрывает ворота зла. Иную старушку не только можно — надо убить. Никто не бросит камня в полковника Штауфенберга. Но вслед за старушкой идет под топор Лизавета, и если не под твой собственный, то под топор другого. Ты ввел в мир убийство. Все вакханалии зла начинались с необходимых действий, с жертвы, принесенной на алтарь исторической необходимости.

Поэтому каждый грех требует искупления, и не только внешнего, обрядового, а всеми силами души. И жизнь не только вечная радость, но и вечное страдание, искупление грехов, чувство вины перед каждым, которому не можешь помочь, кого ударил и обидел, не мог не ударить и не обидеть. И еще какой-то вины, которую нельзя описать, если не сказать: вины перед Богом. Потому что ты Его бьешь, кого бы ты ни ударил. И если ты не чувствуешь этого, ты не знаешь Бога. Это одно из самых главных имен Его: Тот, Кого ты бьешь, кого бы ты ни ударил. Я не говорю: не твори зла, не бей. Нет, бей, если это нужно, но помни, Кого ты бьешь.

Нельзя сделать ни одного шага без зла; но нельзя привыкать к этому, оправдывать себя, перестать чувствовать зло как зло. Смертный грех — самодовольство, респектабельность, самооправдание логикой, необходимостью, прогрессом. ³

Здесь идет речь о нахождении каждым из нас в каждом конкретном и общем случае необходимой и достаточной меры нейтрализации зла. У человечества нет более важной и трудной задачи. Теперь, однако, Г. Померанц говорит о другом — о возвышенности бездействия (не-действия) в сравнении с действием. И эта его позиция перерастает в ту самую крайность, в тот самый “топор в розовых пальчиках добра”, которых он так боится. Сегодня, пугая нас потенциальной опасностью активного сопротивления злу, Г. Померанц фактически предлагает нам заранее, по нашей собственной инициативе, выполнить хорошо знакомый и зекам и вольноотпущенникам приказ: “Руки за спину!..”

3. ПАЛАЧЕСТВО И УТОПИЗМ

Оставим, однако, в стороне субъективные чувствования и обратимся к чисто логическому заблуждению Г. Померанца. Он утверждает, что любые высокие побуждения могут выродиться в палачество, если они однозначны и непримиримы. Я готова расширить это суждение и добавить, следуя Г. Померанцу, что и беспристрастность, доведенная до отказа от выбора, может выродиться в палачество. Пишет же сам Г. По-

меранц о грехе действия и о грехе бездействия. От безразличия к палачеству до палачества — всего один шаг.

Но особенность коммунизма, поставленного Г. Померанцем в ряду других миропониманий, не застрахованных от перерождения в плачество, состоит в том, что те могут переродиться, а могут и не переродиться, а коммунизм не может реализоваться иначе, как в виде тоталитарной, то есть палаческой, власти.

Здесь-то мы и натываемся на коренной порок рассуждения Г. Померанца о неизбежности превращения “антипалача” (термин Г. Померанца) в палача. Не существует такой неизбежности в качестве траектории, обязательной для всякой непримиримости.

Неизбежным и неотвратимым является лишь палачество побеждающих утопистов. В других случаях растление властью (или крайностями борьбы) может случиться, а может и не случиться. Утописты же по определению не могут после прихода к власти выполнить то, что было ими задумано и обещано. Поэтому утопистов после победы ожидают вечные колебания между тотальным и выборочным палачеством — в зависимости от меры покорности общества. А общество покорится утопии не может, даже если бы и захотело: требования утопии невыполнимы. Поэтому жестокое насилие над обществом со стороны вчерашнего утописта, не желающего отказаться от полновластия, неизбежно. По крайней мере, случаев такого отказа со стороны победивших компартий мы не наблюдали, хотя Г. Померанц почему-то на них рассчитывает.

“Антипалач” же, который не является носителем встречной утопии, тоже может, конечно, по каким-то конкретным причинам выродиться в палача: психическая природа людей этого не исключает. Но роковой предопределенности, безвыходной неизбежности такого перерождения нет.

Условием необязательности роковых, по мнению Г. Померанца, вырожденческих циклов: “палач — сопротивление палачеству (“антипалач”) — превращение “антипалача” в “палача” — является реалистичность задач сопротивления. В понятие реалистичности входят и их ограниченность во времени и пространстве, и их желательность для общества, и их выполнимость, и их полезность, в которой большинство общества вскоре убеждается. Иными словами, с роковой неизбежностью в палача превращается только “антипалач”, фактически стоящий на одном полюсе с палачом, одна из его модификаций. В иных случаях вырождение может и состояться, и не состояться.

Г. Померанц пишет: “Американская революция обошлась без остревенения, и слово “революция” на языке американцев — хорошее слово. Когда Стравинский поселился в Штатах, его назвали музыкальным революционером. Стравинский очень обиделся. В его сознании — сознании русского эмигранта — революция пахла трупным смрадом”.⁴

Думаю, что в сознании угандийского — времен Иди Амина, камбод-

жийского — времен Пола Пота, китайского, вьетнамского, кубинского и т. д. эмигрантов революция пахнет примерно так же.

Напомню, что все это революции социалистические, идущие до конца в своих социалистических преобразованиях.

Поэтому и следует рассматривать конкретные программы революций. Если они исключают узаконенный плюрализм, экономическую свободу и охрану прав гражданина и личности, то это не альтернативы. И здесь антисемиты, шовинисты и воинствующие клерикалы, путающие свободу духовного влияния с земной властью своих церквей, столь же опасны, как насилующие национальную самобытность "интернационалисты", демократствующие сторонники экономического и политического монополизма и воинствующие атеисты.

На мой взгляд, намерение В. Турчина создать "беспартийное" (то есть опять же партократическое: единственной партией будет чиновничество) общество так же определенно выражает опасность "обменять шило на швайку", как некоторые положения статей сборника "Из-под глыб". Но опасности, скрытой за демократической фразеологией, никто не замечает.

В американской войне за независимость и в войне между Севером и Югом было достаточно много остервенения. Но оно оказывалось сравнительно коротким и преходящим, потому что задачи обеих войн были локальными и реальными. Равно, как и задачи Тьера, Корнилова (если бы Керенский его не предал) и даже той жесточайшей антикоммунистической реакции, которую пережила Индонезия. Но мы никогда не соизмеряем защитного насилия с тем, что произошло бы, если бы защитно-предупредительной акции не было. Когда не только действовать (действовать почти невозможно), но и размышлять вслух о действии невероятно опасно, мы предпочитаем выдавать нужду за добродетель: исповедовать высоконравственное недействие и постулировать равную моральную неприемлемость одной жертвы и десятков миллионов жертв.

С одной стороны, "поездка студентов МГУ на уборку урожая — не этап в Потьму" (Г. Померанц), хотя налицо и этапы в Потьму, и чудовищность неспособности советской социалистической державы конца XX века прокормить себя хлебом; с другой стороны, уравнивается "счет на миллионы" со счетом "на десятки тысяч" (он же). К величайшему сожалению, мы не избавлены от релятивизма в этом страшном счете. Нам (на Земле) непрерывно приходится выбирать не абсолютное благо, а наименьшее зло. Перед другим выбором жизнь нас не ставит.

4. ОБЩЕСТВО ТОТАЛИТАРНОЕ И ОБЩЕСТВО НЕСОВЕРШЕННОЕ

В 1964—1971 гг. в статье “Два принца” Г. Померанц писал:

Одна из любимых притч Кришна Мурти — о человеке, нашедшем истину. Дьявола это сперва очень огорчило, но потом, немного подумав, он сказал: “Не беда! Человек захочет превратить свое открытие в систему и тогда снова придет ко мне”.

Чтобы стать массовой, истина должна превратиться в систему. Но это тяжелый путь, даже самоубийственный. Истина, целиком превратившаяся в систему, становится стопроцентной ложью. И трудно сказать, к чему больше надо стремиться: чтобы новая истина стала “материальной силой” или чтобы она не совсем материализовалась и хотя бы отчасти оставалась духовной и личной.

Поэтому зрелость не стремится к победам. Она довольствуется обороной от внешних сил, мешающих ее внутреннему развитию, она обращена внутрь, к источнику своего бытия. Стало поговоркой, что “оборона — смерть восстания”. Но наступление — тоже смерть, в духовном отношении еще более верная. Наступать — значит ставить себе все более и более далекие внешние цели и забыть за ними вовсе дорогу вглубь (ради защиты которой все началось). Наступать — значит планировать то, что выходит за рамки человеческого разума; значит угодить в утопию: значит рано или поздно пустить в ход силу, чтобы добиться окончательного решения (которого на самом деле нет), и с великим громом свернуть себе шею.⁵

Во-первых, истине незачем “целиком” превращаться в систему. Ей только и надо добиться защищенности “от внешних сил, мешающих ее... — у Г. Померанца сказано: “*внутреннему развитию*” (курсив мой — Д. Ш.), я бы сказала — просто “развитию”. Неточность этого суждения Г. Померанца состоит в следующем: мы уже угодили в утопию, и добиться внутри этой утопии-оборотня (утопии иначе как в виде и в сути вурдалаков-оборотней не реализуются) ситуации, при которой можно без особого риска защититься от сил, формирующих развитие личности, не удастся и не удастся.

“Надежда внести свободу декретом”⁵ отнюдь не бессмысленна, если есть надежда добиться соответствующего декрета (декретов) и его (их) исполнения. Примеров раскрепощающих декретов в истории много, в том числе и в российской — до октября 1917 года (хотя бы великие реформы 1860-х годов).

Бывают, разумеется, случаи, когда можно “быть свободным и при старом режиме”.⁶ Однако социалистическое тоталитарное общество находится в положении, когда “быть свободным и при старом режиме” могут лишь люди, не представляющие себе, что такое свобода. А дейст-

вительно раскрепощающие декреты изменили бы здесь природу режима (статус власти) и поэтому чрезвычайно маловероятны.

Г. Померанц возвышенно пренебрегает разницей между обществами, в которых можно без самоубийственного риска добиваться раскрепощающих декретов, и тоталитарным обществом, в котором невозможны ни "внутренняя" независимость (ибо нет внутренней независимости без свободы вести себя независимо), ни мирная эмансипация личности. Он пишет: "Я думаю, надо просто оборонять то, что стало условиями нашей жизни, что уже есть, а остальное предоставить событиям..."⁶

Далее следует несколько строк о праве высоких натур на индивидуальное мученичество. "А обществу можно сказать: "того, что есть, достаточно для внутренней жизни. И если она не удастся, если мы пусты и несчастны, то не потому, что не издан еще соответствующий декрет, и никакой декрет здесь не поможет".⁶

И чуть ниже — вывод: "Ну, а если нет? Если история решит иначе? Если всем дорога в золу? Пусть. Мы жили так, чтобы открыть ворота будущему, но не ради будущего, а ради бытия, ради вечного "теперь", и если оно действительно было у нас, — никакая история его у нас не отнимет".⁶

Если "пусть" "всем дорога в золу", то говорить не о чем. Вообще, если отправным условием поисков достойного существования является безразличие к жизни (не только готовность отдать свою жизнь, а приятие для всех "дороги в золу"), то к чему и огород городить? Но ведь в этом отрывке не только о смерти сказано. Здесь постулируется и необходимость "просто оборонять то, что стало условиями нашей жизни, что уже есть, а остальное предоставить событиям... А обществу можно сказать: того, что есть, достаточно для внутренней жизни..."

В редакционном примечании сказано, что будто бы К. Леонтьев выразился в том же духе: "То, что нужно, — это внутренняя решимость, способность к внутренней борьбе в тех реальных условиях, в которых мы живем. И только опираясь на достигнутую свободу, защищая ее, можно постепенно, от поколения к поколению — изнутри наружу вернуть ее".⁷

Так ведь К. Леонтьев говорил это о Р о с с и и, в которой, вопреки всем нынешним псевдоисторическим "обобщениям", действительно — во множестве немаловажных случаев — можно было действовать и примерно таким образом. В той России с 1860-х гг. даже бороться — без применения террора против правительства — можно было бы без смертельного риска, а уж "внутренне совершенствоваться" — сколько душе угодно. Но говорить о тождестве "главной задачи" на Западе и на Востоке⁸ — не кощунство ли? Какого такого "прямого счастья" "и у них нет"? Разве речь идет о большевистской борьбе за "всеобщее счастье"? И можно ли сделать "каждого" (любого из нас) "прямо счастливым" в нашей земной юдоли? Разве речь идет не о достижении правовых об-

стоятельств, позволяющих личности и группе защитить себя от тирании, государственной, монополистической и бандитско-частной? На Западе надо эти обстоятельства расширять, углублять и защищать; при этом здесь в ряде случаев бандитская и монополистическая агрессия куда страшней государственной; на Востоке надо их каким-то трудно поддающимся осмыслению способом добиваться. Это далеко не одна и та же задача. До сих пор только "героические" западные леволибералы наших дней осмеливались отстаивать кощунственное суждение о равном несовершенстве демократических и тоталитарных обществ, о тождестве империалистических поползновений СССР и США (ниже мы еще встретимся со взглядом Г. Померанца на уход США из Вьетнама). Чешский ученый, профессор Рио Прайзнер, сейчас живущий в США, отвечал пропагандистам этой злокачественно-близорукой позиции так:

...По традиции неумения различать феномены Вы бросаете Советский Союз и США в один мешок. Но мне хочется Вам сказать, что Ваши книги никогда не были бы напечатаны в реальном (а не утопическом) демосоциализме. Ваши произведения напечатаны в Западной Европе, этим Вы обязаны США, которые эту Европу защищают. Это утверждение вызовет у Вас издевательский смех. Но я рискну утверждать еще больше: без защиты медленно истекающей кровью американской демократии, которая, несмотря на все "формальности", сохранила законность, все развитие, начиная от группы 47 и кончая Вагенбахом и Петером Вейсом, развитие немецкой философии от франкфуртской школы до Гейдеггера и Гадамера было бы непредставимо. Больше того, не было бы послевоенных произведений Сартра и Камю, из всего богатства опубликованной после 1945 г. литературы остался бы, вероятно, бедный Берт Брехт. Не было бы методологических дискуссий и демонстраций студентов, Нюрнберг выглядел бы по сей день, как Дрезденский парк, и не выходила бы даже газета "Ди цейт", не говоря уж о "Ди вельт". Или, может быть, Вы можете себе представить Ваши "Оловянные барабаны" или романы Бёлля в качестве произведений Самиздата, увидевшие свет в подполье, причем авторы рисковали бы своим существованием? Я не могу себе этого представить. Хотя мы себе очень хорошо представляем Самиздат с произведениями Солженицына. Но кто иной был бы готов так заплатить за неразрушимость познания и образа, как это сделал Солженицын? Или Вы можете себе представить Гейдеггера, который после изнуряющего бессмысленного труда зека объясняет заинтересованным сокамерникам разницы между "бытием" и "бытием"? Вы же сами смеялись над подобными представлениями. Как бы то ни было, Гейдеггер, Адорно или Бёлль, или Вы непредставимы как знаменитые философы и литераторы без США. Ваши произведения, произведения Гейдеггера, духовные сальто морталя

Сартра были возможны только в сфере влияния США с их "формальной", несоциалистической демократией.⁹

Когда-то взгляды Г. Померанца были таковы, что им не пришлось бы противопоставлять горькие доводы профессора Прайзнера. Сегодня Померанц рассуждает вполне в духе "Интернациональной амнистии", для которой генерал Пиночет и Брежнев действуют в одной плоскости, в одном направлении и в одинаковой мере преступны. Разница же здесь принципиальная. И смешение этих понятий в одно — такой же порок рассуждения Г. Померанца, как и универсализация процесса вырождения "антипалачества" в палачество.

"Того, что есть, достаточно для внутренней жизни?"

Возможна "способность к внутренней свободе в тех реальных условиях, в которых мы живем?"

Ну и ну!..

Вот как она реализуется — эта свобода — "в тех реальных условиях", в которых живет Г. Померанц:

...Органы НКВД начали массовую эвакуацию заключенных. Академик Вавилов был среди тех тысяч обитателей внутренней тюрьмы НКВД, Бутырок, Таганки, Лефортово, которых свезли на вокзалы для отправки в тюрьмы Саратова, Оренбурга и Куйбышева.

Мне удалось разыскать несколько бывших заключенных, которые провели эту осеннюю ночь на вокзальных площадях. Доцент Андрей Иванович Сухно вспоминает: "Нас привели из Бутырок на Курский вокзал что-нибудь около полуночи. Стража с собаками оцепила всю привокзальную площадь и приказала нам стать на четвереньки. Накануне в Москве выпал снег, он быстро растаял, и жидкая холодная грязь растеклась по асфальту. Люди пытались отползать от слишком больших луж, но этому мешала теснота, да и стража, заметив движение в толпе заключенных, принимала крутые меры. Сколько нас там стояло? Думаю, что не менее десяти тысяч, а может, и больше. По одежде и по внешнему облику все те, кого я видел ночью, с кем ехал потом в поезде, были московские интеллигенты. Так на четвереньках простояли мы часов шесть. Рассвело. На улицах стали появляться прохожие. Поднимать голову было строго-настрого запрещено..."¹⁰

В потоке других бездумных, кокетливо-мазохистских пророков элиты "серебряного века" Валерий Брюсов, сам не сознавая точности своего пророчества, вещал:

Бесследно погибнет, быть может,
Что ведомо было одним нам,

Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.

Салонные апологеты освежающих бурь, подобно нынешним западным их коллегам, не ведали, сколь незстичной будет безгласная гибель одних и тоскливая служба других по разным ведомствам гуннской культуры.

Сегодня мы снова слышим увещевания примириться с "дорогой в золу" — уже не из снобистски-революционерских, а из философских соображений. Не думаю, что заведомая готовность не только на свою, но и на всеобщую гибель пристойней и нравственной смертоносного пустословия Брюсова. XX век с достаточной определенностью доказал (не впервые в истории, но впервые с таким размахом), что страдания, которые превышают власть души над телом, не возвышают, а ломают страдальцев. Даже призрак таких страданий опасен. Они вызывают аварию нервной системы, и тогда только чудо может уберечь личность от крушения. Прежде чем пытаться, инквизиторы обычно показывали подследственным орудия пытки или чужую пытку. Чаще всего этого хватало для самоговора и доносов.

"Всякое страдание, которое человек сумел вынести, выдержать, делает глубже, делает приемником каких-то новых волн, которые иначе (не пострадай человек) так и остались бы не принятыми", — говорит Г. Померанц. Но не всякое страдание можно вынести! Именно потому не везде одинаково плохо жить (люди, познавшие "обе" жизни: в СССР и на Западе, могли в этом убедиться на опыте — если они не слепы), что не везде управляют людьми посредством страданий (или угрозы страданий), которые невозможно вынести. А. Солженицын прошел сквозь часть (его физически не пытали) этих страданий, был навсегда потрясен их бесчеловечностью (за себя и за других), но не сломлен. Поэтому он и антипалач — определение почетное, а не позорное. Г. Померанц тоже побывал в этом аду и живет сегодня под властью его устроителей. Что с ним произошло или происходит, не мне отсюда гадать. Напомню только, что в страшной книге Дж. Орвелла "1984 год" палачи добиваются от жертвы не просто покорности, но и любви к мучителям. Иногда подобие такой любви наступает как извращенная благодарность за прекращение или неприменение пытки. В одиночке и следовательском кабинете я сама причастилась на какое-то время к этой уродливой благодарности, когда обнаружила, что меня следователь не бьет.¹¹

В годы передышки... Ахматова... часто повторяла фразу, которая приводила меня в ярость: "Они завидуют нашему страданию". Причина непонимания вовсе не зависть, а непредставимость нашего опыта и потоки лжи, искажавшей действительность до полной неузнаваемости. Надо еще прибавить — полное нежелание

вдуматься. Предположить у ленивых и равнодушных людей не только зависть, но даже простое сочувствие, каплю жалости, я не могу. Они просто плевали и отворачивались. Главное же, что завидовать было нечему. В нашем страдании ничего просветляющего не было и в помине. Никакой благодати в нем не ищите: только животный страх и боль...¹²

Одно из двух: либо Г. Померанц в отношении к страданию настолько выносливей, чем Н. Я. Мандельштам, что просто не способен испытывать страх перед ним, либо он так чувствителен к своему страданию, что отворачивается от чужого. Ибо иначе он не мог бы суесловить о возвышающей роли страдания на фоне страшных событий XX века. Страдания, делающие человека сгустком непосильной телесной муки, не возвышают и не делают человека духовнее.

Как можно оборонять свою "внутреннюю свободу" и "возможность развития", стоя на четвереньках, когда "поднимать голову строгонастроено запрещено", а запрет подкреплен автоматчиками и овчарками?

Если мне возразят, что четвереньки — атрибут "сталинщины", я приведу другое авторитетное свидетельство — о феномене новых, благословенно-вегетарианских, "веймарских" (А. Янов) времен:

Кроме обычных тюремных тягот были еще и все тяготы психиатрической больницы: бессрочное заключение, принудительное лечение, побои и полное бесправие. И жаловаться было некому — любая жалоба оседала в твоей истории болезни, рассматривалась как доказательство твоего безумия.

Известно было, что хоть формально заключение и бессрочное, но на практике убийц обычно содержат пять-шесть лет, нашего же брата — два-три года. Это при полной покорности, при отсутствии конфликтов и плохих записей в журнале наблюдений. Для выписки врачи откровенно требовали от заключенного признания своей болезни и осуждения своих действий. Это называлось у них "критикой", критическим отношением к своим болезненным проявлениям, и служило доказательством выздоровления.

В качестве "лечения возбужденных", а точнее сказать — наказания, применялись, главным образом, три средства. Первое — аминазин. От него человек впадал в спячку, какое-то оупление и переставал соображать, что с ним происходит. Второе — сульфазин, или сера. Это средство вызывало сильнейшую боль и лихорадку, температура поднималась до 40—41° С и продолжалась два-три дня. Третье — укрутка. Это считалось самым тяжелым. За какую-нибудь провинность заключенного туго заматывали с ног до подмышек мокрой, скрученной жгутом простыней или парусиновыми полосами. Высыхая, материя сжималась и вызывала страшную боль, жжение во всем теле. Обычно от этого скоро те-

ряли сознание, и на обязанности медсестер было следить за этим, Потерявшему сознание чуть-чуть ослабляли укрутку, давали вздохнуть и прийти в себя, а затем опять закручивали. Так могло повториться несколько раз.¹³

Можно ли чувствовать себя свободным, пусть даже только внутренне, на таком фоне? Не лучше ли просто не вступать в диалог о свободе в таких условиях?

Когда-то в присутствии Наума Коржавина некая демократическая дама утверждала возможность внутренней независимости в любых условиях. Коржавин спросил ее, сознавала бы она свою духовную независимость, если бы ее "пропустили" в лагерном воровском бараке мужиков этак тридцать-пятьдесят? Дама смолкла в ужасе — перед цинизмом Коржавина. И по мне это слишком сильный пример, хотя и бесспорный. Чтобы понять свою безысходную духовную несвободу, достаточно одного районного инструктажа для школьных преподавателей истории СССР. Инструктажа, во время которого какой-нибудь тупорылый жлоб насилует сотню учителей, лепящих затем по той же схеме миропонимание школьников.

Кстати, о преподавании. Г. Померанц недвусмысленно полагает, что отказ его молодого знакомого изучать историю на советском истфаке и уход хорошей учительницы из школы из-за нежелания продолжать и впредь насиловать себя и отравлять детей неизбежной ложью — шаги неразумные, непрагматичные. Практически я согласна скорее с ним, чем с его бескомпромиссными знакомыми: сама почти 30 лет барахталась в школе между ложью или полуправдой для большинства учащихся и опасной и мне, и им правдой — для нескольких самых близких. Не может страна жить без школы, а школа без учителей. Но это было почти невыносимо,¹⁴ и я понимаю, что юноша и учительница, о которых говорит Г. Померанц, честнее меня. Приведу тривиальный для советской школы пример испытания учительской честности:

10 октября 1980 года в советской газете "Пионерская правда" была напечатана статья Л. Корнеева "Ложь ради денег и власти", беспрецедентная по своей погромщицкой откровенности. Учитель истории и классный руководитель обычно обязаны комментировать в классах газетную информацию. В этой статье, в частности, было сказано: "Рвутся бомбы и снаряды в Ливане — наживаются банкиры Лазары и Лейбы. Бандиты в Афганистане травят газом школьников — множатся пачки долларов в сейфах Лимэнов и Гуггенхаймов. Понятно, что для сионизма главный враг — мир на земле.

...Президент Картер под их давлением запретил доставку в СССР зерна и технического оборудования.

...Все больше людей на земле начинают понимать: сионизм — это фашизм сегодня.

...Идет урок в израильской школе. Называется он уроком "национального сознания". Учитель спрашивает: "Как быть с арабами?" "Убивать", — хором отвечают ученики".

Тот же автор поместил более развернутый вариант этой статьи в "Красной звезде" — газете для военнослужащих.

Если учитель, не желающий лепить из советских детей погромщиков и чудовищно клеветать на евреев, на Израиль и на еврейских детей, скажет об этой статье правду, такой урок станет его последним уроком в советской школе. За увольнением последует какой-то из видов "укрутки". Как быть учителю? А ведь это самая что ни на есть будничная школьная ситуация. Как тут сохранить "внутреннюю свободу"?

5. ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Боюсь, что после приведенных выше примеров самые решительные противники лобовых вопросов раньше, чем успеют себя одернуть, воскликнут: "Что делать?!!" Не знаю, что делать, но знаю, что нельзя делать вид, будто не существует различия между тупиком и трудными обстоятельствами. Подозреваю, что мода иронизировать над вопросами, истязавшими совесть наших дедов, — это симптом затянувшейся духовной реакции на провалившуюся утопию. Реактивное мышление не знает других траекторий движения, кроме маятниковых. Поэтому оно сердится на вопросы, а не на ответы. Трагедия возникает не тогда, когда история почему-либо ставит вопрос: "С кем вы, мастера культуры?" Драма разворачивается, когда в решающий момент мастера культуры отвечают на этот вопрос готовностью остаться при социально опасной силе. Что с того, что они пытаются, попав под ее власть, сохранять позу иронического внутреннего нейтралитета? Практически оставаться нейтральными после победы тоталитарной власти они не могут. Мастера культуры тоталитаризму нужны. Он весьма озабочен их послушанием и умело заставляет их пустословить или лгать, петь или плясать при казни их собственных, все еще зрячих душ.

Быть "ни с кем" можно только до прихода хозяина, который ничьей независимости не допускает. Когда он приходит, вопрос о выборе образа жизни и путей творчества превращается в вопрос о выборе между рабством, смертельным риском и "полной гибелью всерьез", как писал Б. Пастернак. Г. Померанц несколько раз уличает поборников антипалачества, в том числе А. Солженицына, в реактивности мышления. Между тем, сам он, того, по всей вероятности, не сознавая, демонстрирует перед читателем трагические симптомы духовной реакции на события последнего века российской истории.

Эта история озаменована культом революционных действий и социализма.

Нынешняя реакция на ход и последствия двухвекового романа между русской мыслью и революционными утопиями Запада преисполнена для оппозиционных интеллектуалов СССР прежде всего отвращением к революционному действию. Но эта реакция неоднородна. В ней, как во всякой реакции такого исторического типа, заложены противостоящие одно другому начала. Одно из них — жажда осмыслить случившееся. Другое — абсолютное отталкивание от всего того, что абсолютизировалось акцией, принесшей столько несчастий.

Г. Померанц ощущает себя беспристрастным осмыслителем глубинных основ бытия и человеческой психологии. Со стороны же, в его рассуждениях с удивительной явственностью проступает реактивное отталкивание заблудившейся мысли от обманувших ее абсолютов — к противлежащим абсолютизациям. Мир погублен культом действия и выбора? Значит, истина в абсолютном бездействии и непредпочтении! Один из главных признаков маятниковой траектории реактивных эмоций, влекущих за собою и мысль, — неразличение разнотипных явлений, стремление найти для разнородных задач единый алгоритм решения.

Приведу пример.

Во времена Маяковского, броская метафора, посвященная капитализму: "...его ни объехать, ни обойти, единственный выход — взорвать!" — была катастрофически ложной. Выиграли те народы, которые не взорвали, а реформировали вполне проходимый квазитупик ранних стадий экономической и политической ("конкурентной") демократии.

Реактивное мышление, испуганное событиями 1917 года и их последствиями, отказывается от ложной — тогда! — формулы ("единственный выход — взорвать!") навсегда, принципиально.

Причем отказ совершается именно в тот момент, когда в результате ненужного (тогда) взрыва образовался тупик не мнимый, а настоящий. При таком подходе к событиям очень важно утвердиться во мнении, что и демократия никуда не годится, ведь тогда не стоит ради нее рисковать жизнью. Вспомним, что говорит Г. Померанц: "На Западе люди, может быть, менее несчастны; но прямого счастья и у них нет. Главная забота, главная задача на Востоке и на Западе одна и та же" (См. "Зарубежье", № 4 (48), 1975 г., стр. 4). Будь этот так (а это — относительно "главной заботы" — к счастью, не так), уже это "менее" и было бы тем глотком воздуха, который позволяет дышать в условиях демократии, и отсутствие коего не позволяет существовать (без смертельного риска) в условиях тоталитарных. Реакция не желает видеть, что сложилась система, по отношению к коей в принципе, в перспективе, этот максималистский вывод: ее "ни объехать, ни обойти, единственный выход — взорвать!" — к великому несчастью для всего человечества, верен. Иной способ устранения тупика может подсказать лишь чудо. Упот-

ребляя здесь слово “взорвать”, я имею в виду “изменить принципиально, фундаментально”. Чудом здесь оказалось бы ненасильственное изменение такого рода.

Неотличение квазитупиков (затруднительных, чрезвычайно сложных ситуаций) от тупиков (безвыходных ситуаций) — одна из особенностей мышления ре-активного, то есть антагонистически привязанного к акции, его породившей. Российская интеллигенция искони, то с большими, то с меньшими основаниями, а то и вовсе без таковых, вопреки исторической логике и своим интересам, сочувствовала “левым”, чем способствовала неким роковым событиям. Какой мы делаем из этого вывод? Одни — долой интеллигенцию! Другие — долой политическое мышление “мастеров культуры” как таковое, вне зависимости от его содержания. Это ли не реакция мысли?

Я не рассматриваю здесь вопроса о том, могла ли Россия 1916 года выйти из своего квазитупика без крушения, но предполагаю, что могла. Однако, когда Г. Померанц говорит об англосаксах: “Они просто защищали свои традиционные вольности — и добились, шаг за шагом, всего, что было нужно. По крайней мере, в защите от политической тирании”, — и проводит в подтексте аналогию между ними и современными подданными Кремля, становится страшно. Ведь автор не может не понимать, что у советских людей, в отличие от англосаксов и даже российских подданных 1860—1910 гг., нет вольностей, которые им следовало бы защищать!

Радикальная интеллигенция 1860—1910 гг. хотела разрушить все старые формы жизни и построить новую жизнь. Результаты известны. Следовательно — “надо просто оборонять то, что стало условиями нашей жизни, что уже есть, а остальное предоставить событиям” (Г. Померанц). Следовательно — не надо менять формы жизни, а исключительно только улучшать, цивилизовать себя и через себя — жизнь.

Нет, не следовательно.

В советской жизни, в коммунизме как таковом нет здоровых и продуктивных начал, которые могли бы быть поддержаны и развиты мастерами культуры, а в деятельности российских правительств и российского общества 1860—1917 (до 25 октября) гг. они были. Вот в чем принципиальная разница. И Солженицын это различие видит и постулирует.

И если мы не просто марионетки, привязанные к маятнику массового среднестатистического миропонимания или к неким куда более греховным силам, эту разницу видеть мы обязаны.

6. КОММУНИЗМ И АНТИКОММУНИЗМ

Когда А. Солженицын говорит, что коммунизм есть “мировое зло огромной ненависти и силы”, зло, враждебное “любой нации, любому народу” (Солженицын не ответственен за своих эпигонов. Сам он в этом утверждении не делает из своего обобщения исключений), — это ясно, и не надо подменять один предмет разговора другим.

“Мировой зло”, в его понимании и ощущении, — тоталитаризм как таковой. Поэтому он заведомо не предполагает и не предлагает новых (русских) гитлеров в качестве альтернативы коммунизму.

Вообще из всего, что пишет и произносит А. Солженицын, никак не следует, что отрицание им одного мирового зла неизбежно ведет к реактивному влипанию лбом в стенку другого, лишь геометрически противоположного первому, а на деле ему тождественного мирового зла. Это отшатывание от коммунизма к нацизму продельывает за А. Солженицына Г. Померанц, доводя — в своей критической интерпретации — отвращение Солженицына к коммунизму до его эмоционального и логического предела, каким он представляется Г. Померанцу. Между тем, нацизм и коммунизм для А. Солженицына находятся на одном и том же нравственном и социальном полюсе. И отталкивание от их насильственной сути приводит его отнюдь не к замене мирового коммунизма русским царизмом, а в другой тупик: в тупик абсолютизации ненасилия (во всяком случае, так было до сих пор). Переходы массы русских и нерусских (кроме евреев и цыган) советских граждан на сторону Гитлера Солженицын воспринимает как историческую и нравственную трагедию, а не как выход.

Однако лишь немногие читатели возьмут на себя труд проверить и исследовать во всей ее сложности позицию А. Солженицына в этом вопросе. Большинство (как и я) привыкло верить оценкам Г. Померанца. Значит, 2:0 в его пользу — еще одна (вспомните “самодержавие правды”) отрицательная эмоция по отношению к Солженицыну обеспечена. Впрочем, обеспечено и алиби Г. Померанца. Он не сказал прямо, что Солженицын предпочитает Гитлера Сталину. Логические ходы: Солженицын считает коммунизм абсолютным злом, следовательно — все разновидности антикоммунизма для него благо; гитлеризм есть один из видов антикоммунизма; значит, для Солженицына он тоже должен быть благом. Таковы типичные ходы всякой “истребительной политики” (Ленин), для которой победа дороже истины и которая работает лишь “на публику”, а не на обращение оппонента к истине. Но ведь это не Солженицын, а Г. Померанц не видит другой реальной траектории для антикоммунистической мысли, кроме отвергнутого им колебания между “черными дырами” двух разноименных тоталитаризмов.

Альтернативы: “коммунизм — демократия западного образца” или “тоталитаризм — реформаторская (в направлении демократии) автори-

тарность" Г. Померанцем не исследуются. Между тем, А. Солженицыну ближе всего вторая альтернатива — твердая, честная власть, способная к раскрепостительной реформации, но не допускающая анархии, ведущей опять к тоталу. Поскольку Г. Померанц в 1978-м году (!) приводит в качестве примера и основания для надежды на перерождение коммунизма эволюцию западных компартий, я опять на западного же мыслителя и сошлюсь. Уже цитируемый выше Рио Прайзнер — чешский профессор, занимающий сейчас кафедру в Пенсильванском университете. Из Чехословакии эмигрировал в 1968 г. Прайзнер дает во многом иную картину "Пражской весны", чем та, к которой мы привыкли. Его анализ тоталитаризма и ревизионизма весьма глубок, и к нему стоит прислушаться. Р. Прайзнер является автором книги "Критика тоталитаризма", вышедшей в 1974 г. в Риме на чешском языке в издательстве "Христианская академия". Он пишет:

В исторической перспективе я могу видеть ревизионизм только как иллюзорную попытку исправить неисправимое, и поэтому в ходе диалектики истории я вижу в нем очень хитрого (хитрость духа у Гегеля) помощника тоталитаризму.

Абстрактный гибрид "демократический социализм" заключает в себе, несмотря на всю прельстительность, чудовищное противоречие или, вернее, он потому так прельстителен, что он мнимо чудесным образом разрешает и примиряет несоединимые феномены демократии и тоталитаризма.

Если привести к простому знаменателю, следует сказать: в социализме нет никакой демократии, и в демократии нет социализма. Социализм связан железной логикой с так называемой диктатурой пролетариата, с насильственной ликвидацией частной собственности, с руководящей ролью насильственно ликвидирующих собственность организаций, с тоталитарным аппаратом власти, который делает все это возможным.

Вы, конечно, можете отвергнуть эти мои тезисы, несмотря на исторический опыт, но тогда у Вас останется только один путь, путь утопии, находящийся вне истории. Конечно, в мире утопии, в мире отчаянной надежды, иррациональной логики и бесчеловечной человечности можно представить себе мирное сосуществование между социализмом и демократией, между рабством и свободой... Хотя можно представить себе, может быть, реально, не утопично, совместную жизнь между волком и ягненком, тигром и зайцем, но совершенно невозможно без ужаса думать о конкретной реальности противоречивой тождественности, называемой "демократический социализм".

Но как раз то, что об априорной предпосылке метаноии (полного внутреннего поворота) людей умалчивается и одновременно она втихомолку включается в концепцию, характеризует эту систему как чисто утопическую и одновременно косвенно манихейскую, так как в ней заключается противоречие совершенного че-

ловека, который втайне предполагается, с безусловным осуждением испорченного человека капитализма. По сравнению с этим капитализм представляет собой систему чистого позитивизма и прагматизма (так же и в отношении оценки человека), тоталитаризм же — систему чистой бесчеловечности, создаваемой с помощью позитивизма и релятивизма испорченного человека.

Так понятая система советов была бы пригодна разве что для ангелов или, в исключительных случаях, для святых.

Еще одно замечание: диктаторский режим, который введен в Чили после свержения Альенде, не должен Вас удивлять, так же, как и то, что Солженицын говорит об авторитарном режиме после предположительного отклонения марксизма (не только ленинизма) в России. Из тоталитарных или предтоталитарных режимов нет легкого перехода к демократии. Я даже думаю, что и в Чехословакии в 1948 г., если бы коммунистический путч был предотвращен, надо было бы временно ввести авторитарный режим. В Вашей стране демократия Аденауэра стала возможной не только после полной капитуляции нацизма, но и под до известной степени авторитарным покровительством США в первое время. Гораздо логичнее был переход от нацизма к большевизму на почти тождественной плоскости тоталитаризма в восточной части Вашей родины. И я не вижу ни малейшей аналогии между свержением Альенде в Чили и оккупацией Чехословакии. Если мы уж хотим делать сравнения, то мне кажется, что гораздо больше общего между Чехословакией 1948 г. непосредственно перед коммунистическим захватом власти и положением Альенде в Чили. В обоих случаях дело шло о попытке при помощи СССР ввести в стране тоталитарную систему, с той только разницей, что чехословацкий генерал Свобода, в лояльность которого неопытный Бенеш твердо верил, был на самом деле испытанным коммунистическим агентом, тогда как в Чили армия, к счастью, имела достаточно сил, чтобы ровно в 12 предотвратить стереотипно организованный коммунистический захват власти.¹⁵

Взгляд Р. Прайзнера на авторитаризм как на динамичную альтернативу тотала, пожалуй, наиболее близок. А. Солженицыну.

Интеллектуал и демократ, Рио Прайзнер рассуждает на том же концептуальном языке, что и Г. Померанц. Казалось бы, Прайзнер должен был быть им услышан. Он, правда, обращается не к российским, а к европейским интеллектуалам, надеющимся на либерализацию коммунизма или на построение "настоящего", т. е. демократического, социализма. Западные оппоненты Р. Прайзнера не хотят "сталинизма", но смертельно ненавидят все то, что ими обозначается как "правизна". Фактически Г. Померанц стоит на позиции того западного мышления, которое парадоксальнейше повторяет все комплексы, иллюзии и заблуждения левоориентированной российской интеллигенции начала века. И —

что весьма симптоматично — набор воззрений западных и советских западнического образца интеллектуалов обязательно сопрягается с тенденциозным прочтением Солженицына и с неприязнью к нему, тогда как почвенничество с ксенофобией объединяются отнюдь не всегда.

Когда я говорю о серийности модернизирующего (ибо действительная новизна здесь не присутствует) мышления, я имею в виду не масштабы дарований и образованности. Как в большинстве направлений мысли, тут есть свои великаны, лилипуты и середняки. Я говорю о стандарте подхода и отклика. Ибо различия и новизна присущи лишь манере выражения, а не позиции.

Ждать от современного коммунизма эволюции (по аналогии с европейской социал-демократией) — занятие не более серьезное, чем неприятие Г. Померанцем Солженицынского призыва “жить не по лжи” на том основании (он говорит об этом мимоходом), что Сталин спекулировал словом “правда”. Что с того? Сталин — спекулировал, а Солженицын не спекулирует. Разумеется, Г. Померанц прямо этого и не утверждает. Он лишь упоминает, что о правде можно и лгать. Как Сталин. И опять возникает чисто риторическая симметрия (Сталин и правда — Солженицын и правда; Сталин о правде глал; а Солженицын?..), которая бросает на Солженицына некую эмоциональную тень. Все эти риторические фигуры полемическим приемам Г. Померанца убедительности не прибавляют.

Еще одна непостижимая для меня вещь. Г. Померанц с такой категоричностью не приемлет социальных позиций, связанных с международным словообразующим элементом “анти”, что всякая “антипозиция” ассоциируется в его восприятии с антихристом: “Мне приходила в голову мысль, что сама сущность антихриста — в упоре на “анти”.¹⁶

Неужели сущность “антихриста” в том, что он против (“анти”), а не в том, что он против Христа: Добра, Правды, Спасения?

В своем неприятии “антипозиций” Г. Померанц настолько широк (поистине безграничная “широта” — вплоть до отсутствия взглядов — тоже один из стандартов модернизирующего мышления, о котором я говорю), что не приемлет не только антикоммунизма, но и антифашизма:

Где-то в большом, сложном, запутанном мире коммунисты так же вдохновляются борьбой со злом, как антикоммунисты. И антикоммунисты так же стервенеют, так же сатанеют от своего антикоммунизма, как коммунисты — от своего антиимпериализма, антифашизма и т. п. И нельзя преодолеть зло, не избавившись от всех анти, от захлеба борьбы. “Антипалач” несет в себе заряд остервенения, который завтра породит нового палача. Нужно не “анти”, нужно “а”, т. е. “не” (ненасилие, недвойственность; с “не” начинаются многие превосходные идеи, с “анти” — ни одной. “Анти” — слово техническое: антибиотики, антифриз — средство

против узко определенного зла. Антибиотики в организме оказались небезопасны. В царстве духа анти вовсе не подходит).

На дне бытия зла нет. Есть разные виды добра, сталкивающиеся и уравновешивающие друг друга. Откуда же берется зло, в котором тонет мир? От остервенения в борьбе за свое частное добро.¹⁷

Замечу, что коммунизм никогда не был принципиально тождествен антифашизму или антиимпериализму. Зато антидемократизму он тождествен во всех без исключения случаях.

Позволю себе возразить, что не мы выбираем в своем антифашизме и антикоммунизме позицию "анти", которую Г. Померанц отпугивающе связывает с антихристом. Это коммунизм и нацизм запрещают кому бы то ни было пребывать в позиции "не", уже одним этим фактом ставя неприсоединившихся в позицию "анти". Коммунистическая (социалистическая) монопартократия безвыходно организует жизнь так, что тот, кто не с ней, тот против нее. А тем, кто против нее, она существовать не разрешает. Разумеется, в зоне для нее достигаемой.

В. Пирожкова пишет:

Покойный Ю. Б. Марголин писал, что он — не католик, но и не антикатолик, он — не буддист, но и не антибуддист и т. д., но почему же он не может быть только некоммунистом, не будучи антикоммунистом? Потому что коммунизм сам не нейтрален по отношению к тем людям, которые его не хотят. Он протягивает захватническую и душашую руку к ним всем, он хочет покорить и подчинить их все себе силою. Вот почему недостаточно быть только некоммунистом, а надо быть антикоммунистом.¹⁸

Нацизм тотально, то есть независимо от взглядов и поведения представителей наций, подлежавших уничтожению, истреблял евреев и цыган. Будучи всего-навсего ненацистами, а не антинацистами, вы всего лишь не участвовали бы в истреблении цыган и евреев, — если бы вам позволили в нем не участвовать. Но вам не позволили бы. И, кроме того, неужели вас удовлетворило бы одно лишь пассивное неучастие в геноциде? Вам не было бы невыносимо тяжело смотреть на происходящее? Я понимаю, что все мы пережили и переживаем состояние позорного бессилия воспрепятствовать злу, но неужели оно совместимо с чувством внутренней свободы, достоинства, с возможностью развития (чего?) ?..

Кстати, Г. Померанц с нацистами воевал, а не уговаривал моих и своих истязаемых и убиваемых соплеменников и родственников прощать нераскаявшихся палачей. Это было дело уничтожаемых — прощать палачей или призывать на них отмщение в свой смертный час, а не наше дело. И в годы сталинщины Г. Померанц был в тюрьме и в лагере, а не среди палачей. Как же нынче антипалач уравнивается им с палачом?

Односторонности и угрожающим потнециям всякого "анти" Г. Померанц противопоставляет спасительный "внутренний поворот каждого человека к свету".

Но ведь на априорной предпосылке конечного поворота каждого человека к правильному (?) образу мыслей и к правильной (?) жизни основаны все варианты утопических идеальных обществ! Такой поворот называется метанойей. И порок расчета на метанойю (в социально-исторической плоскости) состоит в том, что во-первых, само понимание "света" ("правильности") определяется в данном случае далеко не непогрешимыми устроителями "идеальных" обществ, а во-вторых, истребить человеческое разномыслие, человеческую разнокачественность на земле невозможно.

Опыт свидетельствует, что самые обыкновенные, земные, несовершенные люди на одной и той же грешной планете живут все-таки неодинаково. Граница между разными существованиями иногда рассекает один и тот же народ (ФРГ и ГДР, КНР и Тайвань и т. д.).

Порой это бывает очень отчетливая хронологическая граница: нацистская Германия — ФРГ; демократическая Чехословакия — "протекторат" Богемия и Моравия; независимая и оккупированная советами и нацистами Польша; Россия — и СССР, Камбоджа до Пола Пота — и при нем. Примеры бесчисленны.

Кроме того, в одних общественных обстоятельствах работа во имя обращения как можно большего числа людей к духовному и нравственному свету возможна, а в других — невозможна или чрезвычайно затруднена.

Поэтому пытаться противопоставить Солженицынскому горению незамутненно-надмирные фразы о "повороте всех людей к свету" — задача неблагоприятная. Для того, чтобы камбоджийцы зажили хотя бы так, как японцы, а россияне — хотя бы так, как жители ФРГ, всеобщего внутреннего просветления не надо. Достаточно возродить в этих странах нормальную правовую плюралистическую ситуацию, которая дает людям возможность защищать свои интересы. Да и на всей планете и без торжества всеобъемлющей метанойи весьма и весьма просветлело бы, избавься она от коммунистических попечений о ее "повороте к свету".

Солженицын над тем и бьется, чтобы ослабла опасность гибели, идя, как все мыслители такого масштаба, то сквозь прозрения, то сквозь заблуждения (сквозь удачи и неудачи). А Г. Померанц с непостижимой (для меня) слепотой к происходящему печется о том, чтобы умолк, хотя бы на время, этот — один из немногих — могучий голос, сумевший докричаться до не утративших слуха:

Кажется, в жизни часто бывают положения, когда действовать — грех, и не действовать — тоже грех; иногда я действовал и

принимал на себя грех действия, а иногда бездействовал и принимал грех бездействия. Незначительные масштабы событий не опьяняли, и время от времени возникало чувство, что все эти грехи, словно шарики, висят на моей шее. К сожалению, в большой истории легче запутаться. Масштабы так велики, что жернов превращается в пьедестал, и герой, встав на него, заживо бронзовеет. И тогда уже не сознает, что благими намерениями вымощен ад.

Если бы Александр Исаевич увидел вдруг все эти опасности, он наверное замолчал бы, а потом стал писать иначе, другое. И, может быть, написал бы Исповедь человека, поднявшего меч. Это была бы замечательная книга.¹⁹

И тут как-то загадочно-необъяснимо ускользает и от Г. Померанца, и от привычно расположенного к нему читателя, что А. Солженицын поднял всего-навсего перо, а не меч.

Ад коммунизма уже построен. Он безостановочно ширится. И при этом он остается вне поля критики и даже иронии Г. Померанца. А весь огонь обрушивается им на тот проблематичный "ад", который еще только может вырасти из антипалаческой страстности Солженицына. И каяться должен опять-таки Солженицын, поднявший всего лишь голос в защиту и в память жертв, а не убийцы десятков миллионов его сограждан!

Г. Померанц говорит:

Если история — уголовное преступление, то все исторические народы заслуживают казни; и, может быть, она совершится, — в ХХI или другом веке. Только что здесь хорошего? Пусть лучше восторжествует не справедливость, а милость. И остаемся со страданиями неотмщенными... или все погибнем.²⁰

Отлично: пусть "восторжествует не справедливость, а милость". НО: мы, что же, находимся уже в позиции, когда палачи, обезвреженные, ждут то ли возмездия, то ли милости? Идеи, подвигнувшие народы на тотальные преступления ХХ века, УЖЕ развенчаны? Они перестали действовать, и теперь надо только иметь достаточно великодушия, чтобы о них забыть и помиловать тех, кто сегодня маскирует свои преступления возвышенной фразеологией утопии-оборотня? Уже не горит над каждым из нас: "КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ, И КОГДА, ЕСЛИ НЕ СЕЙЧАС"? Мы НЕ ЗНАЕМ, что делать, чтобы народы избежали казни, но ведь знание и незнание — это совсем другая проблема, чем та, которой подменяет заботу, владеющую А. Солженицыным, Г. Померанц!

Сентенции Г. Померанца претендуют на великодушие, но и это подмена. Даже ряд подмен. Это похоже на христианское всепрощение, но это не христианство, ибо христианство запрещает самоубийство и прощает раскаявшихся, а не палачествующих. И у Солженицына речь идет

не об отмщении, а о спасении — живых и тех, кто еще будет жить на Земле.

А. Солженицын ищет не “козла отпущения”, а ответа на изводящий всех нас вопрос: почему это случилось? И еще — почему свободные люди рвутся в ту же ловушку? Ответы могут быть верными и неверными, но он их ищет!

С одной стороны, Г. Померанц без конца повторяет, что и коммунистов, и нацистов, и их противников обрекают на палачество их благие намерения. А посему никакие намерения не гарантируют от того, что носитель их завтра не озверевает. При этом непременно подчеркиваются благие намерения коммунизма.

С другой стороны:

В пароксизме борьбы зло становится мнимо всемогущим, и возникает тот дьявольский пафос, который орвелловский О’Брайен объясняет своей жертве в Министерстве Любви:

“Власть не средство, она цель. Не диктатуры создаются для защиты революции, а наоборот, революции создаются для установления диктатуры. Цель гонений — гонения. Цель пыток — пытки. Цель власти — власть...”²¹

Во-первых, относительно “*мнимого* всемогущества” зла. На Земле, в мимолетности одной человеческой жизни и в преходящем существовании народов, государств и цивилизаций, зло может быть и всемогущим — в убийстве, в уничтожении, в разрушении. Поэтому человек, не впадающий в грех готовности на свое и чужое самоубийство, о *мнимости* всемогущества зла должен говорить осторожно.

Во-вторых, все было бы слишком просто, если бы орвелловский О’Брайен, обо всех судящий по своей подлой душе, был прав.

Гонения, пытки и тотальная власть, к несчастью, возникают даже тогда, когда установление диктатуры первоначально воспринимается утопистами лишь как инструмент, как средство, как преходящая печальная необходимость для построения идеального общества, а не как самоцель.

Ни реакция Тьера на первый коммунистический путч Парижской Коммуны (отнюдь не имевший благой перспективы), ни авторитарность оккупационной политики США в побежденной Германии не превратились в увековеченное пыточное всевластие. Здесь, как и везде у Г. Померанца, обобщение неоднородных явлений приводит к ложному выводу.

Я не буду входить в гипотезу возможного (или предначертанного) “конца истории” (Г. Померанц), “бушменизации” мира и возвращения человечества из истории в “этнографию”. Хочу лишь заметить: не надо об экологии. Меньше всего именно этот довод может служить в пользу “бушменизации” или диктатуры, якобы замедляющих индустриальную

эксплуатацию природы, о чем упоминает Г. Померанц. Мало-мальское приближение к первостепенно сложной экологической проблематике исключило бы эту его ссылку. Диктатура неизмеримо интенсивней эксплуатирует природу, чем пытается уравновесить эту эксплуатацию. "Бушменизация" может замедлить экономический кризис только при камбоджийском решении демографической проблемы: резкое уменьшение народонаселения, скачкообразное снижение потребностей, возвращение к неолитическим формам существования. Нынешнему народонаселению Земли "бушменизация" просуществовать не позволит. Тем более не обеспечит она — так же, как и диктатура, — свободы духовного самосовершенствования и "тихого движения внутрь", ибо добывание хлеба насущного опять начнет занимать весь световой день, а всю световую ночь придется спать без просыпа. Кроме того, подсечное и гаревое (после выжигания леса) земледелие и истребляющее растительность примитивное скотоводство экологически не безобиднее, чем хищничество современной цивилизации. Вспомните экологические обстоятельства Африки и арабского Востока и сравните их с экологическими успехами хотя бы маленького воюющего Израиля. При сохранении современной численности человечества вывести его из современного экологического кризиса могут только наука и технология более проникающие, дальновидные и гуманизированные, чем нынешние. Поистине удивительно тщание, с которым Г. Померанц не упускает ни одного возможного, как ему кажется, довода, способного подкрепить неприятие демократии диктатуре, борьбы — недействию, напряжения сил — забвению об угрозе.

7. ПРОТИВОРЕЧИЯ ИСТИННЫЕ И ЛОЖНЫЕ

Естественно, что центральных противоречий антикоммунистической позиции А. Солженицына Г. Померанц не видит. Возможно потому, что для него это проблески правоты, а не противоречия.

Когда говорят о необходимости (для еще свободного мира) сопротивления тоталитаризму, то рано или поздно встает вопрос о сопротивлении действием, а не только словом. Для партократии ее пропаганда, ее управляющая массовым и индивидуальным поведением ложь — это всего артподготовка перед физической эскалацией. Кроме того, коммунизм прорастает и изнутри демократии.

А. И. Солженицын с начала своей услышанной миром проповеди твердит, что "коммунизм останавливается только тогда, когда встречает стену..."

Но с того же момента, когда он был услышан, он повторяет и оговорку: "...хотя бы стену неколебимой воли".

Каков же реальный смысл этой не услышанной Г. Померанцем ого-

ворки (а ведь А. Солженицын делал подобные оговорки неоднократно)? Перед таким беспощадным, аморальным, агрессивным нападающим, как партократия, чем и как должна быть подкреплена "стена неколебимой воли", чтобы партократия в нее уперлась?

В том же монологе "Коммунизм у всех на виду — и не понят" (январь 1980) сказано, что Запад должен объединить против коммунизма усилия "политиков, дипломатов и военных" (курсив мой — Д. Ш.).

Как должна реализоваться "неколебимая воля" военных? Означает ли это, что А. Солженицын готов отказаться от абсолютизации ненасильственного сопротивления?

Эмоционально, внутренне, он никогда этого принципа не абсолютизировал. (См. хотя бы страницы о лагерных восстаниях, стукачах и кровной мести горских племен в "Архипелаге"). Но декларативно во всех своих публикациях, затрагивающих этот вопрос, он отказывается от военного, силового сопротивления коммунизму.

Впрочем, американские военные, отдающие себе отчет в опасности нынешнего соотношения военных потенциалов СССР и США, понимают А. Солженицына вполне однозначно — как друга страны, которую он стремится побудить к эффективной самозащите. "Новое русское слово" (от 12.6.80 г.) в статье "Кризис американской безопасности" приводит высказывания американского отставного генерала Элбиона Найта. Генерал Найт, дающий серьезный анализ современного состояния американской безопасности, опирается, помимо убедительной статистики и данных о психологическом климате американского общества, еще и на ряд высказываний А. Солженицына. "Запад теряет нервы, а всякая нация, теряющая нервы, — гибнет. ...Коммунизм остановится только перед мощной стеной сопротивления ему. Но Запад теперь избегает создать такую стену, а время подходит к концу", — так звучит А. Солженицын в восприятии и пересказе Э. Найта. И такое понимание возникает все чаще. На этом фоне какой-то малоприятной симптоматикой "отдает" усиливающееся неприятие А. Солженицына частью эмиграции и внутренней неподцензурной, как следует думать, литературы.

Но что все же такое — эта "стена неколебимой воли"?

Если речь идет пусть о сплошной, но пассивной стене людей, готовых недвижно стоять насмерть под огнем любой плотности, то на земную победу этим волевым людям надеяться нечего. Танки пройдут по ним, ядерное оружие просто испепелит все живое.

Если же речь идет о земном одолении "устрашающих военных сил коммунизма" (военных сил!), то для чего оговорки типа "...хотя бы стену неколебимой воли?"

В отличие от Г. Померанца, А. Солженицыну ясно, что мюнхены только углубляют тупик. Но и он не говорит последнего слова: защищаться ли от "устрашающих военных сил коммунизма" военными средствами

или только стоять насмерть? Потрясенный партократическим насилием и от него отвращенный, он многократно отказывался в своих декларациях от применения против коммунизма военной и революционной силы. Как нам узнать: в любых обстоятельствах и при любом повороте событий? Солженицын во всей совокупности своих работ на этот вопрос не отвечает. Страстная и деятельная натура влечет его на сторону лиц и групп, способных сопротивляться, защищаться и опережать готовящееся нападение. Жажда обнаружить земной поведенческий абсолют, пригодный для всех случаев жизни, постоянно сталкивает Солженицына, как в свое время Толстого и Достоевского, с самим собой. Ибо речь идет о борьбе с противником, строящим свою стратегию на применении силы. Любые иные факторы для этого противника несущественны. ЛОЖЬ — да, но ложь для коммунизма лишь артподготовка и вспомогательный инструмент насилия. Солженицын говорит только о правде и о "стене неколебимой воли". Но его оппоненты, стоящие, казалось бы, на той же стороне рва, что и он, упорно уговаривают его отбросить "меч" и предаться покаянному прощению преуспевающих палачей — НЕПОСТИЖИМО!

У диссидентов и эмигрантов нет никакого физического оружия. А хоть бы и было? Зачем оружие горстке людей? И даже Слово — их единственное оружие — почти "не задействовано", ибо у них нет денег и средств информации для доведения Слова до его адресатов.

Но не пришло ли время, может быть, последнее, перестать твердить о ненасильственном, только ненасильственном, исключительно ненасильственном сопротивлении? Хотя бы в наших обращениях к тем, у кого есть армии, оружие и деньги для распространения Слова? Разве мы НЕ ЗНАЕМ, что миролюбием, не подкрепленным силой, ОНИ СЕБЯ НЕ СПАСУТ?

Н. Я. Мандельштам во "Второй книге" пишет:

Я бесповоротно отказываюсь от самозащиты, но другим этого делать не советую... Рекомендую осторожность и самозащиту (стр. 568).

Человек, спасший (для нас, а не для его и своей земной жизни) Осипа Мандельштама, волен не отдалять свою встречу с ним, в которую верит. Но людям этот героический человек завещает "осторожность и самозащиту".

И еще:

...Но все же и во мне теплится надежда (она затухает каждую секунду и скоро потухнет совсем), что испытания, пережитые человечеством, не пропадут зря. Но каждый день подрывает надеж-

ду, потому что новые поколения на Западе (а старые? А на Востоке? — Д. Ш.) ничему не верят и не хотят задуматься о чужом опыте. Их слепота, равнодушие и идиотический эгоизм приведут Запад к тому, что мы испытали, только сейчас это несравненно опаснее, хотя бы потому, что не локализуется в определенном участке, а распространяется и покрывает всю Землю отрядами, которые по заданиям начальства стреляют в окна, в людей, в душу человеческую, надевают на мыслящую голову китайскую каменную шапку, проламывают череп, и рубят кисти рук тем, кто играет на рояле... (стр. 582).

Я хочу знать... Почему оно (речь идет о поколении Н. Я. Мандельштам. Прим. Д. Ш.) не успело ничего противопоставить поведению зверства? ...В чем были роковые ошибки прошлого у нас и в чем они сейчас на Западе? Не идет ли растлевающее влияние не только от арагонов и сартров, но и от "охранителей", берегущих свое здоровье, покой, удобства и делающих ставку на счастье для себя, на свое собственное пищеварение? (стр. 589)

Именно это хочет понять и Солженицын, зарывающийся на десятилетия в документы истории и делающий свой каждый вывод достоянием читателей.

Г. Померанцу А. Солженицын кажется похожим (интеллектуально и психологически) на Ленина. Мне представляется, что, будь у Солженицына, как видится многим, в том числе и Г. Померанцу, характер Ленина, он занимался бы сейчас без всякой оглядки на историю, философию и теорию только сбиванием профессиональной заговорщицкой партии, а не архивными материалами русского и советского прошлого. Ленин никогда всерьез историей не занимался. В зрелом возрасте он не верил в большую часть того, с чем обращался к массовому читателю, Ленин совершенно а-теоретичен и сознательно бесцеремонен в обращении с фактами.

Солженицын, спеша использовать каждый чудом отведенный ему на постижение истины час, ощущывает исторический лабиринт зловещей эпохи. Немудрено, что очертания лабиринта в его представлении от книги к книге в чем-то меняются.

Как уже говорилось выше, Солженицын, вопреки своему характеру, не решается рассматривать и пропагандировать какие-то формы силового сопротивления коммунизму.

Ленин же бросался в бой, если мало-мальски ясно представлял себе хотя бы 2—3 ближайших тактических хода. Хода к чему? Всегда к одному и тому же — к власти своих абсолютных единомышленников, то есть к своей власти: "Сначала ввязаться в серьезную драку, а там посмотрим!.." — вот кредо Ленина (см. "Письма к Суханову "О нашей революции").

Г. Померанц Лениным, как и русской историей, а также стадияль-

ным сравнением русской истории с историей Запада профессионально, по-видимому, не занимался. Он отдает дань поветрию и занимается обобщениями вне доказательной фактографии и сравнениями без основательного сопоставления. Поэтому "ясным истинам" в данной его статье взятая неоткуда. Остаются истины, настолько "глубокие", что в них тонешь, не разобравши, в чем утонул.

8. О ЖАНДАРМАХ И "МИРОВОМ ДОБРЕ"

Попробую разобраться еще в нескольких обобщениях Г. Померанца. Его шокирует "Мировое Добро в образе жандарма, в любую минуту готового пресечь Мировое Зло". Эта ирония адресована тем, кто не одобряет ухода США из Вьетнама, а Франции — из Алжира.

Интересно, почему Г. Померанца не шокирует (или тоже шокирует?) образ обыкновенного полицейского, милиционера или жандарма, оберегающего нормальных людей от воров, хулиганов, бандитов, террористов и т. д.?

И так ли уж плох был бы совокупный "мировой жандарм", который не позволил бы коммунистам оккупировать Афганистан? Или ранее Венгрию и Чехословакию? Или — завтра — Польшу? Впрочем, какое там "завтра"? Не с конца ли 1940-х годов оккупирована Восточная Европа?..

Мой великий оппонент хотел бы Мирового Добра в образе жандарма, в любую минуту готового пресечь Мировое Зло. Это очень популярный образ доброго правления; но Франция уступила Алжиру и Штатам — Северному Вьетнаму, хотя имели техническую возможность раздавить своего противника. Надо было лишь внутренне перестроиться, встать на позиции пролетарского гуманизма (если враг не сдается, его уничтожают). Запад на это оказался неспособен.²²

И опять — передержка. Ситуация "США — Вьетнам" и "Франция — Алжир" не тождественны: уход из колонии (о целесообразности которого тоже можно поспорить: Алжир превращен в просоветское агрессивное, почти тоталитарное государство) или отступление на границе между двумя мирами — не одно и то же. США воевали не только с Северным Вьетнамом, а с КНР и СССР, стоявшими за его спиной. Г. Померанцу ли об этом не ведать? Поэтому речь шла об очень серьезной битве. Уход США из Вьетнама убил половину населения Камбоджи, уничтожил полностью народ мео, массу лаосцев и вьетнамцев, привел к тегеранской и афганской трагедиям и приблизил Америку к выбору куда более страшному, чем тот, перед которым она стояла во Вьетнаме. Уйдя из Вьетнама, США как раз и встали "на позиции пролетарского гу-

манизма”, предав гуманизм как таковой. Да и себя заодно. Кончать прерванный бой придется теперь в Западном полушарии. Отстаивали уход из Вьетнама слепорожденные американские “левые”, сидящие в уютных домах с телевизорами и разъезжающие на собственных автомашинах под защитой презируемой ими полиции. Геноцид против народа мео и тонущие в океане вьетнамские беженцы их настроения не ухудшают. Но Г. Померанц, по всей вероятности, еще не забыл, как выглядит война на своей территории, которая приближается к западным демократиям, в том числе и к США?

По-прежнему справедливость мыслится как зло за зло, око за око, зуб за зуб. Выход за рамки реактивного мышления был бы концом истории, началом какого-то совершенно нового общественного бытия или даже нового космического бытия — как в “Сне смешного человека”. Сегодня мы не дошли до этого, и потому точка зрения Александра Исаевича имеет достоинства, неотделимые от ее недостатков: она в ладу со временем и вдохновляет на великие исторические подвиги. Напротив, моя точка зрения ставит вне исторического процесса. Она делает подозрительным к богатырям и заставляет предсказывать, что Геракл перепьется и постреляет собственных детей, что П. Якир и В. Красин доступны растлению ничуть не меньше, чем герои революции...

Вступив в полемику, я мучительно сознаю опасность собственного красноречия (оно не раз уже толкало людей совсем не туда, куда им хотелось). Я вспоминаю Тютчева: мысль изреченная есть ложь... И голос мой от этого пресекается. У меня нет уверенности, что каждое мое слово служит Добру. И я прошу читателя возвращаться от частных суждений к целому, от буквы к духу, против которого не дай мне Бог согрешить.²³

Мне очень неловко от сознания, что я могу ошибиться именно в своем отношении к духу высказываний Г. Померанца. И я заранее прошу в этом прощения. Но чтение всякого текста начинается с его буквы. П. Якир и В. Красин, на мой взгляд, отличаются от “героев революции” тем, что были сломлены, тогда как те ломали других (и создали ситуацию, в которой людей ломают). Нормальная же человеческая выносливость не рассчитана на испытания, постигшие П. Якира и В. Красина, и вообще на единоборство с тоталитарной монопартократией.

Ссылки на людей, сломленных советской охранкой, в качестве доводов против антикоммунизма (именно по духу таких апелляций) не убедительны. Это — доводы против коммунизма. Геракл, конечно, может и “перепиться”, и “перестрелять своих детей”, но и любой ущемленный и уязвленный мозгляк может сделать то же. Для этого не обязательно быть героем. Слабые и униженные часто отыгрываются на еще

более слабых. Так что это не довод против героев, а мутноватой воды риторика.

Главная же мысль (дух?) высказывания Г. Померанца сводится к идеализации не только недействия, но и небытия.

Прямо сказать, что недействие (в данном историческом случае) обеспечивает хотя бы надежду “быть красным, но не мертвым” (“*besser rot als tot*”), он не решается. Он несколько раз говорит о возможности общечеловеческой гибели и о предпочтительности такого исхода сопротивлению. Конечно, “можно сказать, что врагов вообще нет, что это ложное положение, созданное ложно направленным умом” (Г. Померанц), — сказать все можно. Но как мне это сказать, когда в мирном городе даже не спровоцированные на отчаянные акции люди (Г. Померанцу их неспровоцированность на это неочевидна, а нам здесь очевидна. И убийца, кстати, не приговорен к смерти. Исключение /смертный приговор/ сделано только для Эйхмана) среди бела дня стреляют в автобус со школьниками? Софистика Г. Померанца сводится к одностороннему разоружению. И это действительно будет “концом истории”. “С точки зрения вечности”, с которой Г. Померанц великодушно готов забыть “публицистику Солженицына”, все пустяк. Но измерение “тревог времени” (от которых Г. Померанц все-таки “неспособен совершенно освободиться”) исключительно в категориях вечности так же бессмысленно, как принятие гвоздя в своем башмаке за проявление “мирового зла”.

Чрезвычайно причудливо связаны в монологе Г. Померанца правда и правдоподобие:

Реактивное мышление возникает на том уровне, где целое утрачено разумом. Истина, добро и красота отделились друг от друга, перестали быть именами единого Бога, стали предметами, ничего не знающими друг о друге. И все ценности стали атомами, замкнутыми в себе. В этом ложном мире страстное стремление к полноте бытия принимает форму фанатизма: одна частная ценность утверждается, как вся истина, а противоположная отрицается как чистая ложь.

Реактивное мышление становится великой силой, когда человечество (или какая-то группа людей) опасно приближается к Сцилле; и оно право, предупреждая, что дальнейшее движение к Сцилле ведет к смерти. В этот миг не до тонкостей, не до оттенков. В этот миг надо кричать во всю глотку, как гуси, спасшие Рим: назад! Красный свет! Череп и две скрещенные кости! Таков голос Александра Исаевича в “Архипелаге”. Но проходят годы, десятки лет, и вопль истины становится воплем лжи. Потому что напротив Сциллы — Харибда. Потому что непреклонный антикоммунизм так же опасен, как непреклонный антифашизм; и национализм, к которому Александр Исаевич возвращается, ничуть не менее раз-

рушителин, чем интернационализм. Первую мировую войну, с которой все началось, весь "настоящий XX век", развязали не интернационалисты...²⁴

Но "интернационалисты" во главе с Лениным, начиная с 1914 года, упорнейше сражались с любыми проявлениями пацифизма в социал-демократической (международной) среде. И трудно найти в русской публицистике документы, близкие (по их цинизму и бесчеловечности) к тем письмам Ленина 1914—1917 гг. к его соратникам (Шляпникову, Коллонтай и др.), в которых он вопиет о пользе для социалистической революции самых бесчеловечных поворотов войны и о катастрофичности для нее же любых переговоров о мире. Эти письма имеются во всех пяти советских изданиях сочинений Ленина и представляют собой увлекательнейший материал для чтения, но КТО ИХ ЧИТАЕТ? Впрочем, Солженицын — читает. А Г. Померанц?

О реактивном мышлении я уже писала выше.

Но "весь "настоящий XX век" начался не с первой мировой войны (мир переживал уже страшные войны, в том числе в Европе, причем куда более долгие). "Весь "настоящий XX век" начался с провала утопии, бездумно и безответственно вознамерившейся уничтожить плохой и создать идеальный мир. Утопия эта была теснейше связана с экономическими основами жизни. Очевидно, поэтому и Г. Померанц не может оставить их в стороне.

9. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ "КРЕДО" Г. ПОМЕРАНЦА

Об экономическом аспекте Г. Померанц рассуждает настолько поверхностно, что можно было бы о нем и не упоминать, если бы не все та же ухмылка утопии-оборотня, которая так часто выглядывает из-за его риторики:

Мировой кризис 1929—1933 гг. показал, что либеральная экономика изжила себя, что без каких-то сдвигов к государственному регулированию производства нельзя обойтись. Сейчас, в 70-е годы, надвигающийся мировой голод говорит о необходимости какого-то нового, интернационального регулирования. Но горький опыт России, бросившейся в регулирование безо всякого удержу, без оглядок на исторически мыслимый оптимум, привел И. Р. Шафаревича к мысли, что социализм — воля к смерти, а Солженицын примерно в том же винит воплощение интернациональных идей.

И. Р. Шафаревич приводит в пример древние царства, которые погибли, потому что довели регулирование до аракатеевских высот административного восторга. Но гораздо больше царств по-

гибло от недостатка регулирования, от анархии. Одна из причин, по которой русский народ многое прощал Грозному, — это память об удельных расправах.²⁵

Прежде всего, “горький опыт России” еще продолжается, и, главное, СССР его распространяет на остальной мир, в котором весьма сильны просоциалистические иллюзии. Мне уже однажды доводилось писать,²⁶ что именно коммунизм (социализм) исключает внесение в экономическую жизнь реалистического планирования с “оглядками на исторический оптимум”. Мысль же о том, что сегодня необходимо “какое-то новое, интернациональное (курсив мой — Д. Ш.) регулирование” (при том неразличении способов демократической и партюкратической регуляции экономики, которое проявляет здесь Г. Померанец) вообще устрашающа. Нефтяной шантаж не может быть снят “государственным регулированием” производства и продажи нефти, да еще в интернациональных масштабах (создание еще одного сверхмонополиста типа ОПЕК над ОПЕК?). Идеальный способ снятия подобного шантажа демонстрирует история каучукодобывающих районов мира. Суть его — в изыскании западным обществом собственных резервов горючего. Палиативные способы заключаются в ответном экономическом давлении на нефтяных шейхов, причем в давлении неотвратимом, в категорическом исключении ситуации политического шантажа со стороны нефтедобывающих стран. Для всего этого необходима решимость и осознание безвыходности бездействия.²⁷

Мне тоже, как и Г. Померанцу, очень далек и кажется необоснованным взгляд И. Шафаревича на психологическую этиологию социализма.

Я полагаю, что это взгляд поверхностный, тенденциозный, с научной методологией данной проблемы имеющий мало общего. Мне уже не раз приходилось текстологически доказывать, что развитие национализаторских социальных утопий стимулируется не мистическим “инстинктом смерти”, а стремлением (можно назвать его искушением) раз навсегда упорядочить, переделать, “правильно” “рассчитать” и “хорошо” устроить нашу общую жизнь. Но в том, как Г. Померанец относится к заблуждению И. Шафаревича, явно проглядывает та же тенденция, что и в случае с Якиром и Красиным, в котором сломленные приравниваются к ломающим. И. Шафаревич ошибается, но ошибается он, пытаясь противодействовать социализму, остановить его. Этики социализма он не приемлет. А Г. Померанец, отвергая взгляды И. Шафаревича и А. Солженицына на происхождение социализма, демонстрирует действительную волю к смерти, да еще не к своей (это было бы его личным делом), а всего исторического человечества. И опять из-за его плеча удовлетворенно щерится утопия-оборотень.

Нравственно то, что полезно революции” — идея, имевшая сперва благородную редакцию, мученическую редакцию. Ради ре-

волюции шли на виселицы, сжигали себя, как исторический Мышкин (революционер, а не персонаж Достоевского). В истории христианства прошло несколько веков между мученичеством и сожжением еретиков (мешал образ Христа). В истории русской революции мученики очень быстро стали мучителями. Но логика одна и та же: *ad maiorem gloriam Dei*. Александр Исаевич подчеркивает, что марксизм — ложная вера, а православие — вера истинная. Гораздо важнее другое — свобода от остервенения, от пены на губах в утверждении любой истины и желание понять своего противника. “С этой точки зрения, в споре Т. Ходорович с Л. Плющом я иногда готов встать на сторону Плюща; он больше хочет понять свою оппонентку (не требуя от нее перемены веры), чем она его (непреренно требуя, чтобы он растоптал ногами Карла Маркса) ...”²⁸ — Примечание Г. Померанца.

В споре о вере ложной и истинной мне непонятно само сопоставление социальной доктрины с религией. Зверствования церковью возникают тогда, когда их земные отцы начинают присваивать себе функцию светского утопизма — насильственную перестройку людей и жизни соответственно своим критериям. Вырождение революционных мучеников в мучителей происходит тогда, когда задача революционеров не имеет решения. Об этом мы уже говорили.

Разумеется, “свобода от остервенения” и “желание понять своего противника” важны всегда. Но понять — не всегда значит принять и смириться. Изучая марксизм 40 лет (и по сей день), я тоже не принимаю марксистских сентиментов Л. Плюща и твердо уверена, что они исходят из недостаточного знания им Маркса. Не бывает “любой истины” — бывают более или менее удовлетворительные приближения к Истине (с разных сторон и в различных аспектах) и безнадежные, неправимые уходы от Истины. К числу последних принадлежит, к несчастью для человечества, и марксизм. Всякое серьезное, полное прочтение его источников и собственных текстов лишь утверждает, а не разубеждает в этом выводе.

Ни Маркс, ни Ленин коммунистами не “были поставлены на голову”. При ином подходе, чем у Ленина — к утопии Маркса, а у Сталина — к наследию Ленина, нельзя было ни пытаться воплотить в жизнь нечто заведомо в нее невоплотимое, ни укрепить и отстоять возникшее в этих попытках чудовище.

Идеи Маркса дали толчок, который привел к Архипелагу. Но при этом Маркс, а отчасти и Ленин, были поставлены на голову. Маркс говорил о насилии как повивальной бабке истории, но он не предлагал тащить человека гинекологическими щипцами через всю жизнь до могилы... Поэтому Солженицын не совсем прав, начиная историю Архипелага с 1918 г.²⁹

Это замечание тоже может быть объяснено плохим знанием первоисточников. Маркс и Энгельс предусматривали целую историческую эпоху насилия и революционных войн. Социализм (коммунизм) должен был, по их схеме, победить в международном масштабе. При этом Энгельс писал об уничтожении целых наций, которые окажутся стоящими на пути у коммунистической революции, например, чехов. О целой эпохе кровавого насилия писали и Ленин, и Троцкий, и Бухарин. "Весь мир насилья мы разрушим до основанья" — не преувеличение и не метафора.

Речь идет (в десятках вполне однозначно звучащих пророчеств, рецептов и рекомендаций) о насилии, разрушении, уничтожении, ломке всего "старого мира" и лишь после этого — о лепке "нового человека" и новых форм жизни. Неужели Г. Померанцу "основоположники" кажутся настолько слепыми, что он предполагает в них веру в почти ненасильственное (только "толчок") осуществление такой программы? Не "человека" предполагали они "тащить гинекологическими щипцами через всю жизнь до могилы", а человечество — до торжества коммунизма во всем мире. Это они и осуществляют, хотя наполнение термина "коммунизм" для Брежнева, вероятно, иное, чем для Маркса.

Но какая в том разница для поработаемых? Сравнивая и стараясь уравнивать в масштабах и побуждениях белый и красный террор времен гражданской войны, следует помнить, что у белых не было такой задачи, которая потребовала бы в случае их победы перманентного насилия над всем обществом. Зато их поражение стало условием террора непреходящего и неустранимого. Даже Ленин писал о "20-ти—40-ка годах белогвардейского террора" в случае реставрации, понимая, что вечным этот террор не будет. А тут уже 67, и конца не видно. О том, что существование Архипелага (не книжного, а исторического) Г. Померанц счел возможным сузить до рамок сталинщины, я уже писала. Прав в этом споре не Г. Померанц, а Солженицын.

История "Архипелага" действительно начинается с 1918 года, ибо уже в первых своих декретах Ленин постулировал "революционное правосознание" вместо закона, принудительный труд с жесточайшими карами за уклонение от него, реквизицию продукта труда и имущества граждан и столь широкий набор поводов для репрессий, что сразу же возникла необходимость в концлагерях. Примерно тогда же Троцкий доказывал (с присущей ему заразительной имитацией революционного пафоса), что мнение, будто принудительный труд не производителен, есть предрассудок. Военские части, отрезанные от тыла "заградотрядами", отлично сражались. А уж под конвоем трудиться, как он прозорливо предположил, они тем более станут и смогут.

"Лагерное рабство как способ производства" было следствием именно того "революционного сочетания энтузиазма с террором", которому Г. Померанц выдает нечто вроде индульгенции. На самой вершине

большевистской иерархии даже летом 1917 года никакого энтузиазма не было (перечитайте открытые материалы истории КПСС и сочинения Ленина). В толще народа и в массе образованных классов его было мало.

После победы октябрьского путча руками функционеров, мобилизованных и сравнительно немногочисленных энтузиастов (как это ни парадоксально, энтузиасты появились на стороне большевиков в основном уже после их переворота в результате серьезной идеологической работы "верхов" и прессы), меньшинство сначала дезориентировало, дезорганизовало, втянуло в гражданскую войну, а затем терроризировало большинство народа, которое сопротивлялось, поставляя кадры для лагерей. Использование рабского труда заключенных определялось не "сознательным выбором Сталина". Оно явилось следствием (и неизбежным) непрерывной войны коммунистов со всеми слоями колонизируемой ими страны — войны, включавшей в свое время и борьбу внутри партии.

Да и не безразлично ли, энтузиазм или расчет, или комбинация того и другого лишают людей свободы всюду, где утопия-оборотень вступает в свои права? Если энтузиазм, то губительный; если расчет, то преступный.

Г. Померанц ссылается на Югославию, где, по его словам, есть социализм, но нет ГУЛага (полицейский террор он игнорирует). Его и здесь опровергает профессор Р. Прайзнер, по словам которого "неизбежно фарисейский образ" "демократического" социализма "предлагает нам югославская система, затянувшийся период "висящего в воздухе" перехода к тоталитаризму, система, сохраняющаяся благодаря вывозу рабочих за границу и диктаторской власти Тито ("Зарубежье", декабрь 1974 г., стр. 29). Естественно, что столь межеумочное состояние возможно надолго лишь для малой страны.

В последнее время появились в прессе сообщения и о существовавшем в течение всей диктатуры Тито югославском "Архипелаге ГУЛага", спрятанном на наглухо закрытых островах Адриатического моря, — не таком большом, как в СССР, но не менее страшном.

Г. Померанц счел возможным лишить Архипелага даже Китай с его примерно ста миллионами разными способами репрессированных людей.

Архипелаг — собирательное название места принудительного пребывания, заключения и рабства людей (в тюрьмах, в лагерях, в ссылках, в "шарагах", в психзастенках и даже под домашним арестом — пример А. Д. Сахарова... Рабство — везде рабство). И даже — запертых в границах страны, которую неслучайно начали называть "большой зоной". Уверена, что часть эмигрантского потока обусловлена несовместимостью человеческого достоинства с подданством у закрытого на замок государства. И если "в Китае было несколько гигантских волн террора,

но основные формы — другие: интеллигентов посылали на перевоспитание в деревню и роль вертухаев играли простые крестьяне. Экономические задачи решают не лагеря, а нечто вроде трудармий (Китай кое в чем разыгрывает дебют Троцкого) ”³⁰ — то китайцам от этого не легче, чем русским. И приворожить антикоммунистов к коммунизму это никак не может.

И уж совсем непонятно, к чему подводит читателя Г. Померанец в следующем утверждении:

Лагерное рабство достигло масштабов “уклада” или “способа производства” только еще в одной империи, не коммунистической: в Третьей империи Адольфа Гитлера. Яростный антикоммунизм Гитлера строил лагеря смерти ничуть не хуже, чем яростный марксизм Сталина. Марксисты и националисты старомодной европейской выделки приходили к власти и уходили от власти, но власть не становилась для них напитком ведьмы, и на их совести нет ни Колымы, ни Майданека.³¹

Итак, а) Гитлер — антимарксист; б) Гитлер строил концлагеря. Следовательно?.. Подспудная логика тут должна быть такова, что лагеря могут строить и антимарксисты (ранее упоминалось, что нацизм — это тоже антикоммунизм).

А вот европейские социалисты их не строят, хотя и могли бы.

Но ведь Гитлер это и есть европейский социалист, пришедший к монопартократической власти! А “марксисты и националисты старомодной европейской выделки” к однопартийной внеконкурентной власти ни разу не приходили. И только это пока что спасает западную Европу “от Колымы и Майданека”.

Если Г. Померанец сомневается в том, что Гитлер — социалист и что антимарксист он постольку, поскольку Маркс — космополит и еврей (еврей — для Гитлера, ибо для себя он антисемит и немец), пусть перечитает “Mein Kampf” и десяток-другой нацистских газет. Или хотя бы следующее:

...7. Мы требуем, чтобы государство взяло на себя обязательство в первую очередь заботиться о зарплате и пропитании граждан.

9. Все граждане должны обладать равными правами и нести равные обязанности.

10. Первым долгом каждого гражданина должен быть творческий труд, умственный или физический. Деятельность отдельного лица не должна нарушать интересов общества, она должна протекать в рамках целого и на пользу всех.

13. Мы требуем огосударствления всех уже (до сих пор) обобществленных производств (трестов).

15. Мы требуем широкого и систематического обеспечения престарелых.

23. ...Газеты, нарушающие интересы общественного блага, подлежат запрещению. Мы требуем законодательной борьбы против направления в литературе и искусстве, вносящего разложение в жизнь нашего народа, и закрытия издательств, которые нарушают вышеприведенные требования.

24. Для проведения всего этого мы требуем создания сильной центральной государственной власти, неограниченной власти центрального парламента над всей империей и над всеми ее организациями. Вожди Германии обещают неукоснительно бороться за осуществление вышеприведенных требований и в случае необходимости пожертвовать за нее собственной жизнью.

... Социалист — это тот, кто готов стоять за свой народ всеми фибрами своей души, кто не знает более высокого идеала, чем благо своего народа...

Соавтор приведенных выше тезисов и автор последнего отрывка — Гитлер. Цитирую по книге А. Белинкова "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша", Мадрид, 1976.

Существование Архипелага, строго говоря, не доказывает тождества социализм — Архипелаг и невозможность демократического социализма, основанного на другом прочтении Фурье, Сен-Симона и Маркса. Развитие свободного капитализма тоже не обошлось без рабства (в колониях, например, в южных штатах Америки). Я не думаю, что рабство негров справедливее рабства з/к. И по масштабам — 3 млн рабов! — американский Архипелаг сравним со сталинским. Читая книгу о Джоне Брауне, я невольно сравнивал ее героя с Солженицыным. Та же зацикленность на своей освободительной идее. Та же ярость борьбы...³²

"Строго говоря", "тождество социализм — Архипелаг" и "невозможность" "другого" прочтения Фурье, Сен-Симона и Маркса", как и многих других социалистов, доказаны как теоретически, так и экспериментально в XIX—XX столетиях. Допустим, что Г. Померанц мог не читать работ, посвященных этому. Но не знать, что рабство в Америке было отменено как раз развитием американского капитализма, он не может. Здесь тоже ясно ощутим лишь словесный, риторический параллелизм, призванный вызвать определенные эмоции у читателя.

Боюсь, что вторая центральная мысль монолога Г. Померанца (первая — Солженицын страшней коммунизма) заключена в маленьком, вроде бы безобидном замечании, затерявшемся среди намеков на близость между антимарксизмом и гитлеризмом:

Злодействовала не идея (национальной самобытности или все-ленского братства), а ярость, развязанная на полях первой миро-

вой войны. Злодействовал гнев, переставший быть святым и искавший нового предмета ненависти, перебирая старые счета...³³

Итак, идеи коммунизма и нацизма (а не "национальной самобытности" и не "вселенского братства") ничем особенным от хороших вещей, помещенных в скобках, не отличаются? Не имеют особенностей, обрекающих их воплощений на злодейство? "Ярость, развязанная на полях первой мировой войны", ответственна за Колыму, Майданек, "укрутку" всех видов и национальных моделей? Злодействует седьмое десятилетие не "идея", а первая мировая война?

То же самое говорил о светлой идее коммунизма в свое время И. Эренбург:

Нет, идее не был нанесен удар. Удар был нанесен людям моего поколения. Одни погибли. Другие будут помнить до смерти о тех годах. Право же, их жизнь не была легкой.³⁴

Право, это всего лишь беспринципная казуистика.

Какой идее не был нанесен удар? Какая идея не несет ответственности за преступления партократий XX века? Какие и с кем "старые счета" сводят идеи, лежащие в основе расизма и коммунистической партократии?

Итак, вторая из двух целеполагающих мыслей, лежащих в основе статьи Г. Померанца: социалистическая идея как таковая не скомпрометирована попытками ее воплощения в жизнь. А эта мысль, кстати, в мире достаточно популярная, страшна теми последствиями, которые из нее вытекают. Она подвигает к новым, "лучшим", попыткам воплощения злокачественной идеи в жизнь.

И. Эренбургу реверанс перед неуязвимой идеей продиктован предупредительной самоцензурой. Это понятно. Но если, находясь "там", нельзя печататься даже "здесь", не уклоняясь так непоправимо от истины и от логики, то лучше не печататься "здесь". Ибо тому, что с таким риском печатается "здесь" или обращается в Самиздате, люди привыкли верить. Поверить же, что по прошествии двадцатилетия, отделяющего статью Г. Померанца от мемуаров И. Эренбурга, человек с острым умом и эрудицией Г. Померанца может искренне отстаивать ту же мысль, что и Эренбург в приведенном выше отрывке, очень трудно.

И поэтому — все-таки — С КЕМ ЖЕ ВЫ, МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ?

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Все цитаты из Г. Померанца, не оговоренные особо, взяты из упомянутой выше статьи в "Синтаксисе" № 6, стр. 13—87.
2. В том же № 6 "Синтаксиса" А. Янов обозначает эту смелую и оригинальную мысль вполне однозначно: "Дьявол меняет облик".
3. Г. Померанц. Неопубликованное. "Посев", 1972, стр. 83—84.
4. "Синтаксис" № 6, стр. 19, 20.
5. Цит. по журналу "Зарубежье" № 4 (48), 1975, стр. 4.
6. Там же.
7. Там же.
8. Г. Померанц — там же.
9. "Зарубежье", сентябрь—декабрь 1974, стр. 30; № 3—4, стр. 43—44. Комментарии редакции журнала "Зарубежье", объясняющие конкретные детали ссылок Р. Прайзнера, я опускаю: не в них суть.
10. М. Поповский. "Вавилон", отрывок из книги. Альманах "Память", вып. 3, стр. 334.
11. "Тетрадь на столе", журн. "Время и мы", №№ 52, 53, 55.
12. Н. Я. Мандельштам. Вторая книга. Изд. 1979.
13. В. Буковский. И возвращается ветер... Стр. 182—183.
14. См. журн. "Время и мы", №№ 34, 52, 53, 55.
15. Журнал "Зарубежье", сент.—дек. 1976 г., стр. 26, 28, 29, 31.
16. "Синтаксис", № 6, стр. 12.
17. Там же.
18. "Зарубежье", дек. 1975, № 9 (48), стр. 6.
19. "Синтаксис", № 6, стр. 57—58.
20. Там же.
21. Там же, стр. 20.
22. Там же, стр. 22.
23. Там же, стр. 23.
24. Там же, стр. 28—29.
25. Там же, стр. 29—30.
26. См. журналы "Голос Зарубежья" №№ 10, 11, "22" № 6 и "Время и мы", № 57.
27. Переход на жидкое топливо с использованием собственных запасов угля продемонстрировала в свое время нацистская Германия и демонстрирует сегодня ЮАР, где более 30% потребности в жидком топливе удовлетворяется за счет перегонки угля.
28. "Синтаксис", № 6, стр. 30—31.
29. Там же, стр. 41.
30. Там же, стр. 42.
31. Там же.
32. Там же, стр. 43.
33. Там же.
34. Люди. Годы. Жизнь.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ

АЛЕКСАНДРА ЗИНОВЬЕВА*

Миланская газета "Коррьере делла сера" опубликовала (17 февраля, 1985 года) длинную, на всю страницу, статью А. Зиновьева, озаглавленную "Вот каков тот новый тип оппозиции, который способен изменить советский режим", а вслед за тем левая газета "Ла република" опубликовала, как продолжение и уточнение этого выступления, большое интервью с Зиновьевым. О том, что заказчики получили как раз тот товар, который им требовался, говорит яркая упаковка броских подзаголовков: "Крикливый антисоветизм немногих одиночек не нужен!", "Запад, помогай подлинному сопротивлению!", "Зиновьев объясняет, почему Запад ошибается, поддерживая 'то' советское диссидентство" и т. д. Не решились вынести в подзаголовки (или не нашлось места) другие, не менее ударные заявления (цитирую в переводе с итальянского): "Солженицын и другие диссиденты — жалкие людишки, пропагандисты антикоммунизма", "Западные советологи — шайка диллетантов", "Представители подлинной оппозиции в Советском Союзе, как бы они субъективно ни мотивировали свое поведение, на самом деле стремятся действовать в интересах страны, народа и п а р т и и"; диссиденты — это те, "для кого быть в оппозиции — профессия, почести, способ стать знаменитым и сколотить капитал, способ перебраться на комфортабельный Запад" (о жизни на чужбине, полной лишений и трудностей, Зиновьеву ничего не известно — ведь он судит по себе и рисует свой портрет); Запад не должен "щедро оплачивать статьи Солженицына", "придавать такое большое значение оппозиции религиозных и национальных групп"; Запад должен понять, "сколь ничтожны некоторые персонажи и проблемы"; он не должен быть рупором голосов "кучки ничтожных личностей вроде диссидентов", не должен "оказывать систематическую поддержку профессиональным антисоветчикам".

* Опубликовано в газете "Русская мысль" № 3578 (19 июля, 1985).

Все это пишется в то время, когда из Союза каждую неделю поступают известия о новых арестах и новых пытках в застенках, о людях, смотрящих прямо в лицо смерти и делающих страшный выбор между гибелью и отказом от собственного достоинства, от чувства правды и справедливости. Глумиться над этим может лишь человек, начисто лишенный совести и чести.

Патологически злобные выпады Зиновьева против диссидентов на этот раз доходят до такой непристойности, а причины этой злобы столь явно низменны, что выступить против Зиновьева в защиту диссидентов считал необходимым даже Рой Медведев, в той же газете "Корьере делла сера".

Но перейдем к сути. Основной тезис Зиновьева банален. Изменить советскую систему смогут не малочисленные диссиденты и их политическая оппозиция, а лишь массовая "социальная оппозиция", то есть "оппозиция, являющаяся результатом специфических условий коммунистической структуры и направленная против специфических проявлений этой структуры". Никаких возражений этот самоочевидный постулат, выраженный в таком общем виде, вызвать не может. Но и интереса тоже.

Сальто-мортале начинаются, когда Зиновьев пытается конкретизировать эту общеизвестную истину. Похоже, что при взгляде в бездну проблем, которые он решил сразу охватить, у него закружилась голова, помутился взор и он стал плохо различать предметы — он бросается от одной крайности к другой, на каждом шагу противоречит сам себе (полное отсутствие логики особенно удивительно у профессионального логика), идет против очевидности. От всей этой путаницы начинает кружиться голова и у читателя. Вообще впечатление такое, будто настоящего Зиновьева, автора "Зияющих высот", подменили совсем другим человеком. Большого писателя сменил очень посредственный журналист с гигантскими претензиями. Эту манию величия у Зиновьева был вынужден отметить даже левый итальянский журналист, бравший у него интервью, хотя все, что говорит Зиновьев, ему как раз очень подходило. Не прошло и получаса с начала их беседы, замечает журналист, а Зиновьев уже несколько раз дал понять, что только он один во всем мире понимает советскую систему и умеет ее анализировать.

Контраст с прежним Зиновьевым разителен даже на уровне стиля (а ведь стиль — это человек): тут уже не блеск и лапидарность прежнего стиля, до предела насыщенного внутренней энергией и идущей из глубины страстной убежденностью, а тяжеловесные, вялые и надуманные софизмы, лишенные не только убедительности, но и элементарного правдоподобия.

Итак, что же это за "социальная оппозиция", кто ее носители? Простые труженники? Народные массы, движущие историю? Нет, признать

такое — значило бы пойти по общепринятому пути и отказаться от основного метода Зиновьева: бить на эффект и искать сенсации.

Советский солдат, переходящий на сторону повстанцев в Афганистане, — это не оппозиционер, а дезертир; человек, бегущий на Запад, часто с риском для жизни, и “выбирающий свободу” (эти слова Зиновьев с бесстыдством, перенятым из советской печати, берет в иронические кавычки) — это не оппозиционер; демонстранты, протестующие против удушения национальных культур и разгоняемые пулеметами (как в Тбилиси и Каунасе) — это не оппозиционеры; верующие, противопоставляющие материалистическому тоталитарному режиму иные ценности, организующиеся в общины, жестоко преследуемые властью, — это не оппозиционеры; диссиденты всех видов, в том числе и рабочие, пытающиеся создать независимый профсоюз, — тоже не оппозиционеры. Подлинные и самые страшные для режима оппозиционеры (правда, пока что только в потенции) — это молодые люди, получающие меньше, чем их более опытные старшие коллеги, вознаграждение, и способные специалисты с высшим образованием, получающие то же вознаграждение, что и их менее одаренные коллеги.

Долго и нудно, но с огромным апломбом, будто открывает Бог весть какие Америки, Зиновьев растолковывает банальности, очевидные любому школьнику, и выдает естественную конфликтность, имеющуюся в любой стране мира и неустрашимую в принципе, за характерную именно для советского общества “социальную оппозицию”, порождаемую спецификой коммунистической системы. Из тумана схоластики вырисовывается знакомая нам фигура излюбленного зиновьевского персонажа — младшего научного сотрудника. И все те редкие конкретные примеры, которые Зиновьев здесь приводит для иллюстрации своих вымыслов, берутся из этого узкого круга НИИ. Возникает впечатление, что только этим мирком и ограничивается все знание советской действительности у Зиновьева. Отталкиваясь от этого, он пробует построить грандиозную картину исторического развития советского общества в перспективе на “одно или два столетия”. В этом, как и во многом другом, Зиновьев верный ученик Маркса, пытавшегося из перипетии двух аршинов сукна вывести всю мировую историю.

Поскольку речь идет об интеллигентах, естественно было бы предположить у них не только одни животные побуждения, но и какие-то человеческие мотивы для оппозиции. Но нет, Зиновьев, вскормленный на марксизме и никуда от него не ушедший, признает лишь один-единственный мощный мотив человеческого возмущения — недостаточное вознаграждение за труд. И если есть рядом ослепительный пример Польши, то Польшу надо признать несуществующей. Нет ее и не было.

От марксизма же — и претензия на научность в той области, где она заведомо исключается самим предметом и где возможны лишь более или менее удачные гипотезы и более или менее убедительные мнения,

подкрепленные опытом и интуицией. Эта наукообразность достигается довольно нехитрыми приемами. Один из них — говорить о делах человеческих бесстрастным, отрешенным тоном, якобы с высоты Истории (разумеется, с большой буквы), избегая тщательно всяких оценочных определений и даже бравирюя этой аморальностью. Эта “научная” беспристрастность позволяет Зиновьеву выдать индульгенцию всем большевистским преступникам. “Ценности западных демократий, — утверждает он, — тоже были завоеваны ценой кровопролития, не меньшего, чем то, которое было в трагической советской истории”. Но Зиновьеву ведь отлично известно, что по подсчетам марксиста Р. Медведева, за один только год коммунистической диктатуры в России уничтожалось больше людей, чем за всю историю дома Романовых; а по общепринятому в наши дни мнению, царизм был самым реакционным и самым репрессивным режимом Европы. Недобросовестность — естественное следствие несостоятельности надуманных тезисов, при попытке подкрепить их примерами приходится действовать именно таким образом.

Марксистско-гегелевское идолопоклонство перед Историей, которое побуждает Зиновьева видеть в советском строе не результат вполне определенных систематических и целенаправленных действий власть имущих, а некий загадочный продукт мистифицированной Истории, заставляет его превращать в святыню любую историческую данность по той лишь одной причине, что она являет собой совершившийся факт. Так, коммунистическая система объявляется Зиновьевым “социальной структурой, совершенно естественной, имеющей право на существование наряду с другими типами общества”. А раз заходит разговор о “праве”, значит неизбежно надо говорить и о правде системы, и тогда Зиновьев входит в неразрешимое для него противоречие. В отличии коммунистической системы даже от гитлеровского режима, который был всего-навсего политическим режимом и не пронизывал всего общества до самых основ, Зиновьев видит чуть ли не ее “историческую” заслугу, находит “естественность” как раз в том, что есть самого жуткого (тоталитаризм) и самого противоестественного в коммунизме. Двадцатый век достаточно продемонстрировал нам, что история может быть бредом сумасшедшего, торжеством абсурда, лжи и жестокости. Зиновьев начисто забыл трагический пафос своей первой и лучшей книги.

Но историзм и материализм отбрасываются прочь Зиновьевым, как только они становятся неудобными (впрочем, ненадолго, потом они сразу же снова всплывают, когда становятся опять нужными). Так, причиной возникновения диссидентства в Советском Союзе оказываются у Зиновьева не реальные условия существования советских людей и не осознание этих условий, а тлетворное влияние Запада. “Запад заставил многие тысячи советских людей понять общественный строй

их страны, ее историю и цели социальной борьбы таким образом, который совершенно не соответствует их условиям жизни и их личным интересам (!!). Вот почему освобождение от всего того, что Запад постарался навязать советской оппозиции, не принимая во внимание внутренних законов коммунистического общества и потребностей его граждан, — является теперь необходимым условием для превращения социальной оппозиции из потенциальной в реальную и очевидную”.

Потребности советских людей совершенно иные, нежели у людей Запада, утверждает Зиновьев. В чем же они иные? Быть может, советским людям не нужна свобода говорить и писать то, что думаешь, свобода объединяться в профсоюзы, партии и ассоциации, свобода ехать, куда хочешь, и жить там, где хочешь? Встретив такое странное и спорное утверждение читатель вправе ждать, что Зиновьев подтвердит его какими-то доказательствами или хотя бы пояснит какими-то примерами. Но нет. Зиновьев, в соответствии с его манерой, самые сомнительные утверждения бросает в виде двусмысленных недосказанностей. Эти недосказанности бывают хороши в художественной прозе, но они очень раздражают в статьях, претендующих на научность.

Итак, носителями “социальной оппозиции” являются неудовлетворенные своим “вознаграждением” специалисты. Почему? Потому что у них “уровень эксплуатации” выше, чем у других. Почему надо считать, что уровень эксплуатации младших научных выше, чем уровень эксплуатации, например, санитарки, получающей за тяжелую и неприятную работу смехотворное “вознаграждение” от государства, или дорожных рабочих, живущих в теплушках и надрывающихся на изнуряющей работе, или колхозника, работающего даром на коммунистического хозяина (каким инструментом Зиновьев измеряет этот уровень, например, в момент, когда санитарка выносит из палаты зловонное судно, полное испражнений? При всей своей научности Зиновьев, оказывается, даже не знает того, что само понятие “эксплуатация” — не научно)? И почему забастовки рабочих, вызванные нехваткой продуктов питания, то есть как раз специфической чертой именно коммунистической системы, надо считать менее опасными для режима, нежели недовольство младших научных? Да просто потому, что так надо Зиновьеву для его надуманных схем.

Признав, что носители этой потенциальной “социальной оппозиции” немногочисленны, что все это лишь отдельные одиночки, рассеянные по разным учреждениям и не связанные между собой, что их объединяет не общая идеология или программа, а лишь смутное недовольство условиями жизни и работы, Зиновьев сразу же, без всякого перехода, начинает говорить об этих еще только потенциальных оппозиционерах (такой аморфной массой ведь никого не заинтригуешь) как о могущественном сообществе, с собственной идеологией и правилами, диктующем свои законы обществу и определяющей климат страны. Перед

этими "социальными оппозиционерами" якобы даже заискивают артисты, художники и писатели, наперебой стремящиеся снискать признание не у официальных властей, а у них, у "младших научных". Немедленно следует и другая неувязка: сначала Зиновьев говорит о подавленности этих "оппозиционеров" властью большинства (точно отмечая эту жуткую черту коммунистического коллективизма), но тут же следом рисует идиллическую картину того, как эти несправедливо обиженные талантливые люди пользуются горячей поддержкой своих чутких товарищей по работе и получают помощь от высшего начальства. Когда надо — действуют беспощадные законы "научно" наблюдаемого человеческого муравейника, но как только эта надобность исчезает, выступает на сцену розовый социалистический реализм.

Увлечшись своей фантазией, Зиновьев начинает живописать черты носителей этого несуществующего движения, называя их "представителями" или даже "членами" социальной оппозиции. "Проблема оценки коммунизма как хорошей или плохой системы не входит в сферу их проблем, а тем более — идея разрушить его или заменить". "В общих чертах коммунизм им нравится". Совершенно забыл, что сам в своей замечательной книге показал, как они только тем и занимаются, что оценивают, как рассказывание антисоветских анекдотов и поношение власти стало их излюбленным занятием, как сам режим ежедневно своим хвастливым самовосхвалением толкает к оценке. Но вся эта махинация понадобилась Зиновьеву для того, чтобы выдать в качестве своего гениального открытия избитый гегелевский трюизм о том, что История добивается своих целей, используя, как ей надо, действия людей, против их намерений и даже против их собственного желания.

Заманчиво живописуя этих несуществующих "членов" несуществующей оппозиции, довольных коммунизмом, Зиновьев далее вдруг начинает говорить о них как о людях, исполненных "горечи и даже ярости" и "признающих в борьбе смысл собственного существования". В порыве хлестаковского красноречия он неожиданно для себя нарисовал всем знакомый портрет — тех самых диссидентов, которых он так бешено ненавидит, на которых обрушил столько постыдной ругани и столько бесстыдной лжи.

При всем своем прокламируемом "историзме" Зиновьев даже не заметил настоящего поворотного пункта в истории: внутри самой победно шествующей по всему миру коммунистической фаланги вдруг возникли люди, которые прямо в лицо правителям заявили, что они не освободители человечества и носители прогресса, а убийцы, лжецы и растлители. И именно этот момент надо считать началом конца режима и идеологии, ибо система, основывающаяся на единой лишь лжи, обречена.

Пораженный внезапной метаморфозой — превращением довольных

коммунизмом потенциальных оппозиционеров в самоотверженных диссидентов, — итальянский интервьюер, естественно, спросил: да как же режим их не репрессирует? “Видите ли, власть в СССР, — отвечает Зиновьев, — принадлежит не банде негодяев. Это люди ясного ума, с чувством ответственности, я бы даже сказал, с известным чувством государственности”. Зиновьева вовсе не смущает то, что всего лишь несколькими минутами раньше он заявил: “Природа этого (советского) правящего класса — мафиозна... Если есть нечто, что они действительно хорошо знают, в чем можно назвать их специалистами, так это искусство делать карьеру. Только этим можно объяснить возвышение такой совершенно посредственной фигуры, как Константин Черненко”. Но это ничего, постоянные противоречия с самим собой Зиновьев сможет легко объяснить новым софизмом — например, тем, что он придерживается не старой отжившей логики, а новой “диалектической”, примеры которой дают нам его учителя марксисты.

Так что же должен делать Запад? Рецепт Зиновьева очень прост (хотя он и любит говорить о необычайной сложности советских проблем): “интенсифицировать контакты с СССР, экономические связи, туризм, культурный обмен”, привлекать к сотрудничеству писателей, “не требуя от них участия в антикоммунистической пропаганде”, “говорить как можно больше о культурной жизни в СССР”. Забыл, совсем забыл, что эта самая “советская культура”, как он сам это впечатляюще показал в своей книге, — лишь псевдокультура. Ничего не поделаешь, диалектика!

И в полном соответствии с этой “диалектикой” Зиновьев кончает тем, с отрицания чего начал. Признанием, что “социальная оппозиция” лишь тогда сможет изменить систему, когда она достигнет определенного уровня самосознания, то есть когда она станет политической оппозицией (что предполагает выход на определенный уровень осознания проблем, задач и методов и определенную организацию), иными словами, когда диссидентов будет не несколько сотен, а несколько миллионов.

Эти замечания были бы, пожалуй, излишними, если бы Зиновьев имел смелость высказать все это также и в русской прессе. Но свои самые абсурдные измышления он обычно предназначает западным читателям, в надежде на то, что русские этого не прочтут.

ОБ АВТОРАХ

АГУРСКИЙ, Михаил.

Родился в 1933 г. в Москве в семье ответственного партийного работника, арестованного в 1938 г. во время чисток и умершего в ссылке в 1947 г.

В 1956 г. окончил Московский станкоинструментальный институт и работал инженером по электронной аппаратуре. В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию в области технической кибернетики в институте проблем управления АН СССР. В 1957 г. был председателем молодежного клуба „Факел“. С 1964 г. стал сионистом, хотя и не принимал вначале активного участия в этом движении. Подал заявление о выезде в начале 1972 г. и в качестве сиониста активно поддерживал диссидентские круги, в том числе круги оппозиционных русских националистов.

С 1972 г. стал активно публиковаться за границей как публицист и историк. Принял участие в сборнике „Из-под глыб“. В 1975 г. выехал в Израиль и с тех пор непрерывно работает в Центре по изучению СССР и Восточной Европы Иерусалимского университета. За это время стал одним из ведущих политических обозревателей Израиля в области международных отношений. Опубликовал несколько книг (в том числе „Идеология Национал-большевизма“, УМСА-пресс, 1980; „Советский Голем“, ОРИ, 1983) и много научных и публицистических статей. В 1983 г. защитил новую диссертацию в Ecole des Hautes Etudes в Париже на тему: „Национал-большевизм в СССР“. Постоянно живет в Иерусалиме. Примыкает к партии труда Израиля.

БУКОВСКИЙ, Владимир Константинович.

Родился в 1942 г. В 1961 г. исключен с биолого-почвенного факультета Московского университета за участие в Самиздатском сборнике. В 1960-е годы многократно арестовывался за правозащитную деятельность и помещался в психбольницы и лагеря. В начале 1971 года составил „Белую книгу“ о заключении инакомыслящих в советские психиатрические больницы. В том же 1971 году был арестован, судим (январь 1972) и приговорен к 12 годам лишения свободы. В 1976 г. его обменяли на секретаря компартии Чили Луиса Корвалана и выслали за рубеж. Живет в Англии, часто выступает со статьями и лекциями на темы, связанные с защитой прав человека в СССР. За рубежом опубликовал следующие книги: „И возвращается ветер...“ (1979), „Письма русского путешественника“ (1981), „Пацифисты против мира“ (1982).

КОРЖАВИН, Наум Моисеевич.

Родился в Киеве в 1925 году. В 1947 году, будучи студентом Московского Литературного института, был арестован, провел 8 месяцев в Лубянской тюрьме, затем — несколько лет в ссылке в Новосибирской

области. По возвращении закончил институт в 1959 г. Печатал стихи в журналах, принял участие в нашумевшем сборнике „Тарусские страницы“. Единственный сборник стихов „Годы“ вышел в 1963 году. В театре им. Станиславского шла пьеса Коржавина „Однажды в двадцатом“. Стихи его широко ходили в Самиздате. Эмигрировал в 1974 году, живет в США. Выпустил сборники стихов „Времена“ (1977), „Сплетения“ (1981). Активно печатается в эмигрантской периодике (журналы „Континент“, „Страна и Мир“ и др.)

МАЛЬЦЕВ, Юрий Владимирович.

Родился в 1932 г. в Ростове-на-Дону. Окончил Ленинградский университет в 1955 г., преподавал итальянский язык на историческом факультете МГУ, печатал в московских и ленинградских журналах и издательствах свои переводы из Альберто Моравиа, Эдуардо де Филиппо и др. За участие в демократическом движении в защиту прав человека в СССР был уволен с работы, заключен в психбольницу, допрашивался в Лефортовской тюрьме КГБ. Эмигрировал в 1974 году. За рубежом опубликовал большую работу „Вольная русская литература 1955-1975“ (Германия, 1976, в переводе на немецкий – 1981). Живет в Италии, активно печатается в эмигрантской периодике. Подготовил к печати монографию о творчестве Бунина.

ТАМАРЧЕНКО, Анна Владимировна.

Доктор филологических наук; профессор Бостонского университета; сотрудник Русского исследовательского центра Гарвардского университета. До эмиграции в США (1978) работала в различных университетах Советского Союза. Последние 16 лет была профессором Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. С 1964 по 1978 гг. – член Союза советских писателей. Автор ряда книг и многочисленных критических статей о русской литературе и театре двадцатого века.

ФЕЛЬШТИНСКИЙ, Юрий Георгиевич.

Родился в Москве в 1956 году. В 1978 г. эмигрировал в США. Изучал историю в Брандайском университете на кафедре Сравнительной истории. В настоящее время аспирант докторской программы Ратгерского университета. Специализируется по русской истории 1917-45 годов, новейшей истории дипломатии. Автор более ста публикаций, среди них „Большевики и левые эсеры. Октябрь 1917 – июль 1918“ (Париж, 1985) и „Legal Foundations of the Immigration Policy of the USSR (1917 – 1927)“, *Soviet Studies*, vol. XXXIV (Великобритания, 1982). Был редактором-составителем или переводчиком следующих книг: „СССР – Германия 1939–1941. Документы и материалы по истории советско-

германских отношений”, в двух томах (США, 1983), Л. Троцкий. “Портреты” (США, 1984) и Л. Троцкий. “Сталин”, в двух томах (США, 1985).

ШТУРМАН (Тиктина), Дора Моисеевна.

Родилась в 1923 году на Украине. С 1977 года живет в Израиле. Внештатный сотрудник Центра по изучению СССР и стран Восточной Европы Иерусалимского университета. По образованию филолог. Занимается исследованием советской системы, ее становления и принципов функционирования. В 1944 году, за первую попытку такого исследования, была осуждена на пять лет по статье 58-10-11 УК РСФСР. После освобождения продолжала свою исследовательскую работу по указанной выше тематике нелегально. В эмиграции издала книги: „Советская сельская школа 1948-62 годов“, „Наш новый мир. Теория. Эксперимент. Результат“ (1981, Израиль), „Мертвые хватают живых (читая Ленина, Бухарина и Троцкого)“ (1982, Англия), „Земля за холмом“ (1983, США), „СССР в зеркале политического анекдота“ (1985, Англия, в соавторстве с д-ром С. Тиктиным). Д. Штурман – автор множества статей, опубликованных в израильской, европейской и американской русской периодике. Ряд статей переведен на английский и немецкий языки и на иврит.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аарон Раймон — 6
 Аврич П. — 90
 Авторханов А. — 117, 128
 Агурский М. — 73, 181
 Аденауер К. — 152
 Адорно Т. — 142
 Азеф Е. — 96
 Аксаков И. — 75
 Алексеева Л. — 99
 Алпатов М. — 86
 Альенде С. — 44, 152
 Амин И. — 138
 Андропов Ю. — 9
 Арбатов Г. — 92
 Ахматова А. — 144
- Бабаевский М. — 82
 Байрон Д. — 51
 Бакунин М. — 90, 91
 Барбу — 73, 82
 Бату-хан — 88
 Бахтин М. — 57—61, 70—71
 Бегун В. — 86
 Бейлис М. — 106
 Белинков А. — 82, 171
 Белинский В. — 75
 Белоцерковский В. — 95—96, 98—99, 125
 Бенеш Э. — 152
 Берд Т. — 84
 Бердяев Н. — 60, 62, 67, 73, 90
 Беттелл Н. — 15
 Бёлль Г. — 33—53, 142
 Бисмарк О. — 121
 Блинов Ю. — 115, 128
 Блок А. — 90
 Бор Н. — 132
 Борисов В. — 90
 Браун Д. — 171
 Брежнев Л. — 18, 62, 82—83, 91—93, 103, 121, 143, 168
 Брехт Б. — 142
 Брюсов В. — 143—144
 Буковский В. — 5, 7, 25, 33—35, 47, 181
 Булгаков М. — 55
 Булгаков С. — 60, 73
 Бухарин Н. — 86, 122, 167, 183
- Вавилов Н. — 143
 Вагенбах — 142
 Вагин Е. — 89
 Ванцетти Б. — 106
 Вебб Б. — 36
 Вейс П. — 142
 Великанова Т. — 5
 Викулов С. — 84—85, 87
 Власов А. А. — 114
 Врангель П. — 91
- Гадамера — 142
 Галансков Ю. — 107
 Гегель Г. — 80, 151
 Генрих Четвертый — 121
 Геракл — 163
 Герцен А. — 82
 Герциков Г. — 27—31
 Гинзбург А. — 120
 Гитлер А. — 35, 44, 53, 95, 121, 128, 150, 170—171
 Глазунов И. — 9, 76, 84
 Глюксман А. — 6
 Годунов Б. — 54, 121
 Голосовкер Я. — 56, 59
 Гречко А. — 92
 Грибоедов А. — 54
 Грозный Иван — 75, 121, 166
 Гуггенхайм — 146
 Гудин В. — 11
 Гудзий Н. — 56—57
 Гулыга А. — 80
 Гус М. — 57
- Даниэль Ю. — 107, 117
 Данлоп Д. — 89
 Де Филиппо Э. — 182
 Дементьев А. — 77—78, 80, 84—85
 Деникин А. — 91
 Джексон Г. — 6
 Дженсен — 7
 Джилас М. — 120
 Дзержинский Ф. — 122
 Достоевский Ф. — 56—58, 60, 63, 68, 120, 160, 167
 Дрейфус А. — 106
 Дудинцев М. — 107
 Дыбенко П. — 127

- Евсеев Е. — 86
 Емельянов Б. — 86
 Ермилов В. — 57
 Ершов Л. — 84
- Жуков Д. — 84
- Залка М. — 51
 Зиновьев А. — 20, 174—180
 Знаменский О. — 127
 Зощенко М. — 31
- Иванов Анатолий — 86
 Иванов А. (Скуратов А.) — 75—78, 89, 91, 93
 Иванов Ю. — 86
 Иоффе А. — 86
 Исаяев Е. — 85, 87
 Исаковский М. — 88
- Кампесино — 52
 Камю А. — 142
 Кант И. — 56—58
 Карабанов — 92
 Карлайл О. — 5, 7, 9
 Картер Д. — 63, 146
 Каценелинбогейн А. — 56
 Кастро Ф. — 40—42, 52—53, 109
 Кеннеди Э. — 106
 Керенский А. — 19, 139
 Кестлер А. — 16
 Киплинг Р. — 15
 Кирпотин В. — 57
 Киссинджер Г. — 14
 Клайн Д. — 84
 Клепикова Е. — 116, 120, 129
 Кожин В. — 76—78, 84
 Колесников М. — 86
 Коллонтай А. — 165
 Колчак А. — 91
 Колпелев Л. — 98, 120, 125, 129
 Корвалан Л. — 181
 Коржавин Н. — 26, 33, 130, 146, 181, 182
 Корнеева Л. — 146
 Корнилов В. — 47, 139
 Косыгин А. — 18
 Кочетов Вс. — 96
 Красин В. — 163, 166
- Краснов В. — 120
 Крестинский Н. — 86
 Кропоткин П. — 91
 Крупская Н. — 8, 19
 Куйбышев В. — 86
- Лакшин В. — 80, 82
 Ланщиков — 81, 84
 Лао-цзы — 135
 Лацис В. — 122
 Левитин-Краснов А. — 73
 Ленин В. — 8, 17, 19, 40, 53, 109—111, 117, 121, 122, 127, 150, 161, 165, 167—169, 183
 Леонтьев К. — 78—79, 141
 Лимэн — 146
 Литвинов П. — 73
 Лобанов М. — 83
 Лобачевский Н. — 67
 Лосский Н. — 56, 60
 Лотман Ю. — 58
- Максимов В. — 5, 9, 47, 96
 Мальцев Е. — 82
 Мальцев Ю. — 173, 182
 Мандельштам Н. — 61, 128, 145, 160—161
 Мандельштам О. — 51
 Манн Т. — 60
 Марголин Ю. — 154
 Маргушин — 120
 Маркс К. — 94, 98, 109—111, 167, 168, 170, 171, 176
 Машинский С. — 78
 Маяковский В. — 148
 Меерсон-Аксенов М. — 120
 Медведев Ж. — 8, 96
 Медведев П. Н. — 58
 Медведев Р. — 8, 175, 177
 Мелентьев — 84
 Менделеев Д. — 67
 Меньшиков М. — 73
 Михайлов М. — 56—58, 60—68, 96—97, 99—100, 119—120, 125
 Моравия А. — 182
 Мурти К. — 140
- Найт Э. — 159
 Наполеон Первый — 29, 40, 89
 Некипелов В. — 5

- Некрич А. — 9, 74
 Нето А. — 40—41, 52
 Нечаев С. — 96
 Николай Первый — 120
 Никонов — 83
- Олеша Ю. — 171
 Орвелл Дж. — 144
 Орехов — 9, 91, 116
 Осипов В. — 21, 128
 Осипов Н. — 117
- Пайпс Р. — 92, 120, 125
 Палиевский П. — 84
 Панина Д. — 131
 Парамонов Б. — 120
 Пастернак Б. — 147
 Пеньковский О. — 107
 Переверзев В. — 59
 Петр Первый — 79, 121
 Пилат — 55
 Пиночет А. — 7, 44, 143
 Пирожкова В. — 154
 Плющ Л. — 8, 73, 167
 По Э. — 82
 Покровский — 78
 Поляков О. — 27
 Полянский Р. — 14
 Померанц Г. — 130—159, 161—172
 Пот, Пол — 139, 155
 Прайзнер Р. — 142—143, 151—152, 169
 Проскурин П. — 85, 87
 Пушкин А. — 54
- Редлих Р. — 45
 Рейган Р. — 97
 Розанов В. — 60
 Розенберг, супруги — 106—107
 Романовы, династия — 54, 177
- Садуль, Жак — 81
 Сакко Н. — 106
 Самолвин — 91
 Сартр Ж.-П. — 6, 109, 142—143
 Сахаров А. — 8, 24, 62, 107, 109,
 124, 169
 Семанов С. — 83, 86
 Сен-Симон К.-А. — 171
- Синявский А. — 9, 19, 61, 80, 82,
 107, 116—117, 135
 Скуратов А. — см. Иванов А. М.
 Соколовский В. — 92
 Солженицын А. — 5—9, 12—13, 15,
 17—21, 23, 25, 60—63, 76, 82—83,
 89—91, 94—129, 130—136, 142,
 144, 147, 149—153, 155—161,
 163—168, 171, 174
 Соловейчик — 90
 Соловьев В. С. — 56, 60
 Соловьев В. — 9, 120, 129
 Солоухин В. — 87
 Сомоса А. — 44
 Сорокин В. — 88
 Софронов С. — 86
 Сталин И. — 8, 11, 15, 44, 51, 53, 60,
 95, 103, 107, 109, 121, 128, 153,
 167, 169—170
 Столыпин П. — 121
 Стравинский И. — 138
 Стучка П. — 122
 Суханов Н. — 161
 Сухно А. — 143
- Тамарченко А. — 54, 182
 Твардовский А. — 77, 80
 Тиктин С. — 183
 Тито И. — 169
 Тихомиров Л. — 73
 Толстой Л. — 90—91, 98, 124, 160
 Троцкий Л. — 86, 111, 122, 127,
 168, 170, 183
 Турчин В. — 139
 Тухачевский М. — 112—113
 Тьер А. — 139, 157
- Удодов — 116
 Уншлихт И. — 192
 Ушаков Д. — 69
- Федотов Г. — 120
 Федотов Н. — 60
 Фейхтвангер Л. — 115—116
 Фельштинский Ю. — 94, 182
 Фохт Б. — 56
 Франк С. — 60
 Франко Б. — 51—53, 115—116, 128
 Фурье Ш. — 171

Хайдеггер (Гейдеггер) М. — 142
Хани Д. — 84
Хватов А. — 84
Ходорович Т. — 167
Ховрин Н. — 127
Хрущев Н. — 6, 17, 103, 107, 121
Хэмингуэй Э. — 52

Цзе-дун, Мао — 45, 109

Чаадаев П. — 96
Чалидзе В. — 5—25, 99—118, 120,
122—123, 125—129
Чалмаев В. — 77—78, 80, 83, 85
Чапаев В. — 52
Че Гевара — 39
Черненко К. — 180
Чехов А. — 19
Чуев Ф. — 83

Шагалов А. — 85
Шафаревич И. — 165, 166
Шевцов И. — 86, 87
Шендер М. — 120

Шестаков А. — 27
Шестов Л. — 60
Шиманов Г. — 83, 89, 91
Шляпников А. — 117, 165
Шоу Б. — 13, 115—116
Шпенглер О. — 90
Шрагин Б. — 73, 96—97, 99, 125
Штауфенберг К. — 137
Штурман Д. — 130, 183
Шуман Т. — 120

Щаранский А. — 107

Эйхман К. — 164
Энгельс Ф. — 109—111, 168
Эпштейн Ю. — 15
Эренбург И. — 172
Эткинд Е. — 5

Якир П. — 163, 166
Яковлев — 77, 81, 84
Яковченко — 84
Якунин Г. — 5
Янов А. — 9, 74—86, 88—93, 135, 145,
173

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Владимир БУКОВСКИЙ. "Почему русские ссорятся?"	5
Наум КОРЖАВИН. "О чужой и своей беде"	26
Наум КОРЖАВИН. "За чей счет?" /Открытое письмо Г. Бёллю/	33
Анна ТАМАРЧЕНКО. "Свобода мнений и уважение к истине"	54
Михаил АГУРСКИЙ. "Зоотехник Барбу"	73
Юрий ФЕЛЬШТИНСКИЙ. "Солженицын и его критики"	94
Дора ШТУРМАН. "С кем вы, мастера культуры?"	130
Юрий МАЛЬЦЕВ. "Головокружения Александра Зиновьева"	174
Об авторах	181
Указатель имен	185



ЭРМИТАЖ

В 1986 ГОДУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

АВЕРИНЦЕВ, Сергей. "Религия и литература". (Статьи, 143 с.)	6,00
АКСЕНОВ, Василий. "Аристофаниана с лягушками". (Пьесы, 380 с.)	10,00
АКСЕНОВ, Василий. "Право на остров". (Рассказы, 202 с.)	7,00
АЛЬТШУЛЛЕР, Марк, ДРЫЖАКОВА, Елена. "Путь отречения". (Русская литература 1953—1968, 352 с.)	16,50
АРАНОВИЧ, Феликс. "Надгробие Антокольского". (180 с., илл.)	8,00
БРАКМАН, Рита. "Выбор в аду". (О творч. Солженицына, 144 с.)	7,50
ВАЙЛЬ, П. ГЕНИС. А. "Современная русская проза". (192 с.)	8,50
ВОЛОХОНСКИЙ, Анри. "Стихотворения". (160 с.)	8,00
ГИРШИН, Марк. "Убийство эмигранта". (Роман, 145 с.)	5,50
ГУБЕРШТЕЙН, Фридрих. "Искушение". (Роман, 160 с.)	8,50
ГУБЕРМАН, Игорь. "Бумеранг". (Стихи, 120 с. Рис. Д. Мирецкого)	6,00
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Заповедник". (Повесть, 128 с.)	6,00
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Зона". (Повесть, 128 с.)	6,00
ДРУСКИН, Лев. "У неба на виду". (Избр. стихи, 230 с.)	9,50
ЕЗЕРСКАЯ, Белла. "Мастера". (Сборник интервью, 120 с., илл.)	8,00
ЕФИМОВ, Игорь. "Архивы Страшного суда". (Роман, 320 с.)	8,50
ЕФИМОВ, Игорь. "Как одна плоть". (Роман, 120 с.)	5,00
ЕФИМОВ, Игорь. "Метаполитика". (Философия истории, 250 с.)	7,00
ЕФИМОВ, Игорь. "Практическая метафизика". (Филос., 340 с.)	8,50
ЖОЛКОВСКИЙ, А. и ЩЕГЛОВ, Ю. "Мир автора и структура текста". (Статьи о русской литературе, 400 с.)	15,00
ЗАЙЧИК, Марк. "Феномен". (Рассказы, 184 с.)	8,50
ЗЕРНОВА, Руфь. "Женские рассказы". (160 с.)	7,50
ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ ШЕСТИДЕСЯТЫХ (352 с.)	13,50
КЛЕЙМАН, Людмила. "Ранняя проза Федора Сологуба". (220 с.)	14,00
КОРОТЮКОВ, А. "Нелегко быть русским шпионом". (Роман, 140 с.)	8,00
КРЕПС, Михаил. "Булгаков и Пастернак как романисты". (140 с.)	9,00
ЛОСЕВ, Лев. "Закрытый распределитель". (Очерки, 190 с.)	7,00
ЛОСЕВ, Лев. "Чудесный десант". (Стихи, 150 с.)	9,00
ЛУНГИНА, Т. "Вольф Мессинг — человек-загадка". (270 с., илл.)	12,00
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Д. "Маленькая Тереза". (Роман-жизнеоп., 230 с.)	9,50
НЕИЗВЕСТНЫЙ, Эрнст. "О синтезе в искусстве". (Альбом, 60 илл.)	12,00
ПОПОВСКИЙ, Марк. "Дело академика Вавилова". (280 с., 20 илл.)	10,00
РАТУШИНСКАЯ, Ирина. "Стихи". (На рус., англ., фран., 140 с.)	8,50
РЖЕВСКИЙ, Леонид. "Звездопад". (Повести, 270 с.)	12,00
РОЗИНЕР, Феликс. "Весенние мужские игры". (Пов., рас., 208 с.)	8,50
РЫСКИН, Григорий. "Осень на Виндзорской дороге". (2 пов., 200 с.)	8,50
СВИРСКИЙ, Григорий. "Прорыв". (Роман об эмигр. 1970-х, 560 с.)	18,00
СУСЛОВ, Илья. "Рассказы о т. Сталине и др. товарищях". (140 с.)	7,50
СУСЛОВ, Илья. "Мои автографы". (Рассказы, 200 с.)	10,00
ТЕЛЕСИН, Юлиус. "1001 анекдот". (220 с.)	10,00
ТИМОФЕЕВ, Лев. "Последняя надежда выжить". (Очерки, 200 с.)	10,00
ЧЕРТОК, Семен. "Последняя любовь Маяковского". (128 с., илл.)	7,00
ШТЕРН, Людмила. "Под знаком четырех". (Повести, 200 с.)	8,50
ШТУРМАН, Дора. "Земля за холмом". (Статьи, 256 с.)	7,00
ШУЛЬМАН, Соломон. "Инопланетяне над Россией". (208 с., илл.)	12,00

Заказы отпр. по адресу: Hermitage, P.O.Box 410, Tenafly, N.J. 07670, USA

К стоимости заказа добавьте 1.50 дол. на пересылку (независимо от числа заказываемых книг). При покупке 3-х и более книг — скидка 20%.



Статьи, собранные в этой книге, посвящены одной теме — анализу и критике той категории политико-исторического мышления, которой свойственны расплывчатость и прекраснородушная безответственность, чреватая порой частичным оправданием социализма-коммунизма. Написанные в разное время разными людьми, эти статьи объединены также попыткой объяснения авторов со своими оппонентами: Михаила Агурского — с Александром Яновым, Владимира Буковского — с Валерием Чалидзе, Наума Коржавина — с Генрихом Бёллем, Юрия Мальцева — с Александром Зиновьевым, Анны Тамарченко — с Михайло Михайловым, Доры Штурман — с Григорием Померанцем, Юрия Фельштинского — с Валерием Чалидзе, Михайло Михайловым, Борисом Шрагиным и другими. И еще одно объединяет статьи сборника — желание осмыслить наше прошлое и настоящее и одновременно освоить искусство, столь необходимое для нашего будущего, — искусство политического диалога.